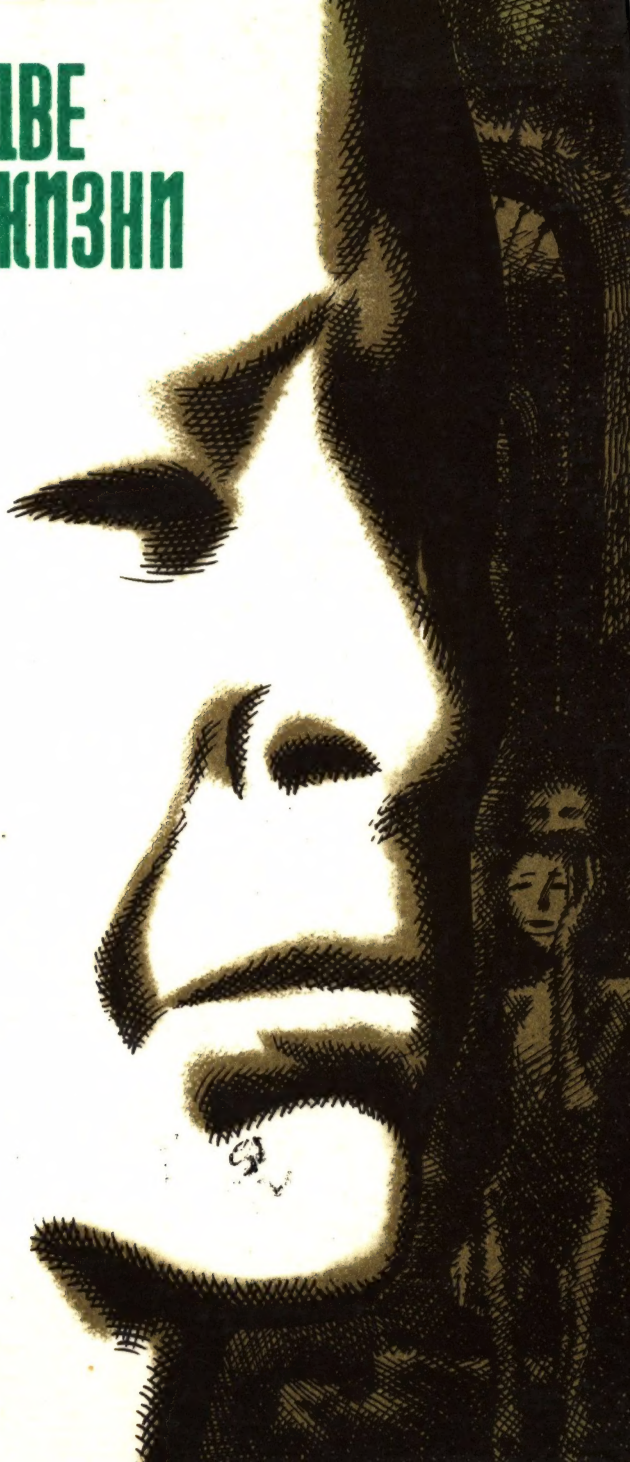


Г. КУРПНЕК

ДВЕ ЖИЗНИ

С 1533. 782



**КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА**

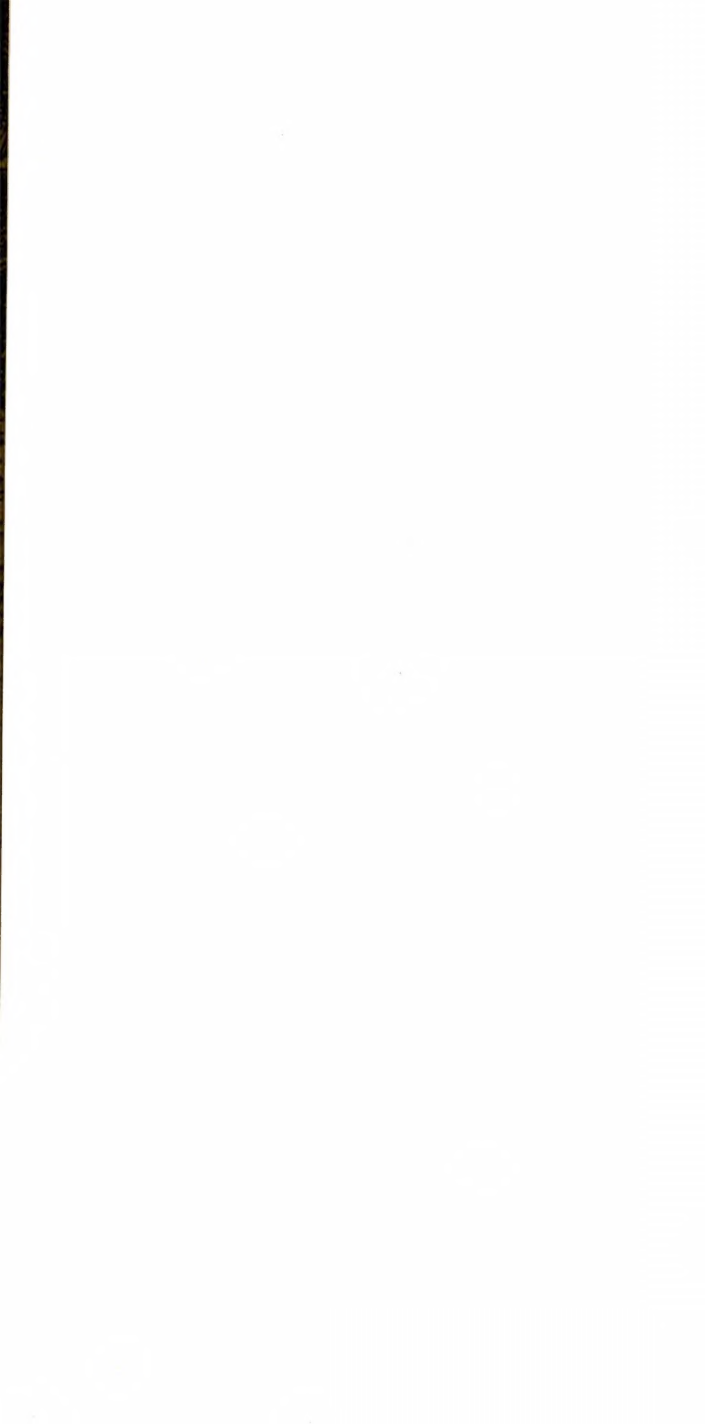
**КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА**

Колич. пред. выдач _____

3

Г. КУРПНЕК

ДВЕ ЖИЗНИ



ГУНАР
КУРПНЕК

ДВЕ ЖИЗНИ

ПАТЕТИЧЕСКАЯ
БАЛЛАДА
В ПРОЗЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЛИЕСМА»
РИГА
1972

С 1533782

8L2
K 935

c. 1533782.

Художник А. Станкевич

1—5—4

1972—851



Государственная
публичная библиотека
им. В.Г. Белинского
г. Свердловск

Моим сыновьям — Теодору и
Гунару — и их сверстникам,
не знавшим войны.

20
24
1
7
2
2
3



АВТОР — ЭЙЖЕНУ ВЕВЕРИСУ

Дорогой Эйжен!

Эта книга — о тебе.

Книга об Эйжене Веверисе: мальчике и юноше, учителе и ученике, узнике и борце. Патетическая баллада в прозе о поэте, давшем нам стихи огромной человеческой силы, — «Сажайте розы в проклятую землю». Ты проклял эту землю сначала, а затем взрастил на ней розы, которые никогда не завянут.

Это книга о человеке трудной судьбы. Человеке, победившем свою судьбу.

Я обращаюсь к тебе, Эйжен, первой страницей, а под ней — стопка белоснежной бумаги. И все-таки я уже написал балладу: целых два года она звучала во мне. Теперь — строка к строке — я должен положить ее на бумагу. Станут ли белые листочки книгой, достойной тебя, Эйжен?

Сомнения...

Они день и ночь беспокоят меня. Понимаю, они неизбежны перед каждой большой дорогой, тем более перед путешествием в чужую жизнь. Впрочем, почему «чужую»? Не стала ли твоя, Эйжен, жизнь и частью моей жизни!..

Чувствую — пора написать первую фразу баллады. Легко сказать: написать первую фразу. А какой она должна быть! Из каких слов состоять! По опыту знаю: первая фраза — нередко ключ ко всему. Но где отыскать этот ключик, которым можно будет отпереть двери, — две двери в две твои жизни, Эйжен! Где этот ключ! Где!

... И вдруг я слышу, как кто-то встал за моей спиной. Оборачиваюсь — никого...

Но он тут! Я чувствую его дыхание... Слышу невнятный шепот. И даже в шепоте (боясь оглянуться!) узнаю.

— Эйжен, это ты! Зачем ты пришел!

— Ты же искал первые и самые верные слова...

— Ну и что!

— Я подскажу тебе их.

— Не надо! Я должен сам найти. Понимаешь — сам!

— Нет, — шепчет Эйжен. — Первые слова обо мне должен сказать я.

— Ты уверен в этом!

— Абсолютно! — (Я чувствую, как его сухая ладонь ложится мне на плечо.) — Уверен! Пиши!

Я написал:

Пули свистят...



ЖИЗНЬ ПЕРВАЯ

**Пули свистят,
И каждая ищет
Сердце.**

**Эйжен Веверис
«Пуля-сиротка»**

В том — 1899 — году над миром свистели пули. В огромном мире не было тишины. И над Ригой в том году свистели пули.

На рижской фабрике «Джута» забастовали работницы. Они пошли к лифляндскому губернатору с жалобой на произвол фабричной администрации. Женщин окружили полиция и войска и загнали их в Александровский сад. Возвращавшиеся после смены рабочие «Феникса» и Балтийского вагоностроительного пришли на помощь женщинам. Раздались выстрелы, полилась кровь.

Побагровели первые нежно-зеленые листья травы в рижском саду.

В том году родился мальчик.

Родился на ранней утренней заре...

Клубились над Даугавой летние туманы. Лениво плескалась о берег мутная волна.

Солнце вставало в неисчислимый раз.

Но для мальчика, еще не имевшего имени, оно вошло впервые.

Разумеется, он об этом не знал.

Как не знал и того, что проживет сначала одну жизнь, потом — вторую. И каждая из этих жизней будет долгой, наполненной страстями и горестями, каждая будет по-своему радостной и мучительно тяжелой.

Рождение этого мальчика не было отмечено ни гулом колоколов, ни хриплыми криками восторженных соотечественников. Не принц родился, не наследник крупного состояния, а самый обыкновенный мальчик, каких родилось в тот год не одна тысяча.

Много-много лет спустя эти мальчики вольются в целое поколение людей, чья жизнь — противоречивая и простая, — чьи дела — добрые и злые — составят целую эпоху.

Будут в этой эпохе битвы между Светом и Тьмой. И одни из народившихся тогда мальчиков войдут в могучую силу Света, а другие — Тьмы.

Эпоха эта станет эпохой революционного преобразования мира.

Почти над каждым из народившихся тогда сынов Земли впоследствии просвистят пули.

И далеко не каждая пуля просвистит мимо...

Клубились над Даугавой летние туманы...

Вставало солнце...

Родился мальчик...

Его назвали Эйженом.

В метрике значились родители мальчика: отец — Август Веверис, из рабочих, мать — Елизавета Веверис, из мещан.

Но в казенной этой бумаге не было сказано, кем станет новорожденный. Потому что, как всякая казенная бумажка, метрика лишь регистрировала факт. И чиновникам, выписавшим ее, и пастору, совершившему над младенцем таинство крещения, было абсолютно безразлично, какой дорогой пойдет новорожденный и пойдет ли он вообще какой-то дорогой...

По случаю рождения сына Август Веверис пригласил таких же, как он, рабочих с Балтийского вагоностроительного и ближайших родственников — брата Эрнеста и брата жены Германа Крюгера. Выпили по чарке сначала за здоровье младенца, а потом — за мать и отца, давших миру нового человека.

Выпили и тотчас же забыли о лежавшем в тугих пеленках ребенке. Потому что у каждого из сидевших за столом были более важные заботы. Общие заботы рабочих людей. У всех в памяти был «джутовый бунт», забастовки и стачки на «Проводнике», на лесопильном заводе Бейера, пивоваренном «Вальдшлехене».

Маленький Эйжен не слышал этих разговоров.

Кряхтя и пуская пузыри, лежал он, уставившись бессмысленным взглядом в какую-то точку бесконечного пространства. Что он видел? Что ощущал?

В какой-то миг между светом и тьмой над ним склонялось нечто огромное и сияющее, а губы его прикасались к чему-то теплomu и — капля за каплей, глоток за глотком — в него вливалась животворная влага.

— Боже, какой он жадный! — восторженно говорила мать.

— И какой урод! — добавлял отец, не спуская глаз с морщинистого личика сына. — Таких безобразных я еще не видел.

— Они все такие, когда рождаются, — улыбалась Елизавета. — Мы еще похорошеем! Мы будем самыми красивыми на свете! И самыми умными! И самыми...

Шли месяцы...

Шли первые детские годы, о которых человек обычно почему-то забывает в расцвете лет. От повседневной суеты ли? Или оттого, что в юношеские и зрелые лета — он весь в будущем и некогда оглянуться назад! Воспоминания о раннем детстве придут потом, когда море жизни уже сольется с белесым небом.

В этом море возникнут островки детских воспоминаний. Они сперва еле-еле выступают над поверхностью и их будут заливать волны. С годами они вырастут и их позолотит солнце — солнце детских лет...

Но островкам этим никогда не суждено слиться в единый материк, потому что память человека — то карающая, то сладостная — будет шагать через бездны, в которые канет бесследно многое.

Грохот конки за окном...

Звон колоколов Гертрудинской церкви...

Прозрачно-золотистый клен во дворе...

Черная соседская собачонка — вся в ломах...

Белый кафель печи в углу комнаты. . .

Мать. . .

Самая красивая среди людей. С прямым носом, который так приятно зажать в ладошках. . .

С глазами, в которых можно увидеть нежность, гнев, слезы, смех, лукавство, заботу. Эйжен еще не знает даже названия этих чувств. Но они входят в него от матери сами собой. . .

А ее голос! Великий материнский голос, который не умолкнет в нем никогда. Баюкающий и строгий, звенящий и глухой, со множеством тончайших оттенков, которые улавливает только он — сын.

Мать. . .

Она любила петь. И пела не просто так, как поют все матери, склонившись над детской кроваткой. Она была настоящей певицей, исполняла соло в хоре знаменитого Андрея Юрьяна и незадолго до рождения Эйжена участвовала в IV Празднике песни, который состоялся в Елгаве. . .

Песня входила в жизнь мальчика вместе с солнечным светом, с тихим шепотом дождя за окном, с первыми неосознанными пока чувствами. Песня станет его вечной спутницей.

Отец. . .

Колючий подбородок. . .

Две жесткие ладони, они хватают его за плечики и поднимают до потолка. И мальчику становится до жути сладостно и страшно. Эти ладони могут все, потому что принадлежат отцу. . .

Глаза, привыкшие смотреть на мир строго и ясно. Они и на сына смотрят так же. . .

В три года Эйжен стал рисовать. Обычные детские рисунки, наивные и нередко нелепые. . .

Он пристрастился к рисованию потому, что переполнявшие все его маленькое существо образы, подсказанные спетыми песнями, голосом матери, всем, что окружало его, требовали выхода. Он рисовал, и каждый листок рождал новые и новые чувства, которым не было конца. . .

Однажды отец купил Эйжену великолепно изданную книгу Шлоссера «Мировая история в кар-

тинах». Это были отличные репродукции с картин выдающихся мастеров кисти и графики. Часами, пролетавшими как минуты, мальчуган рассматривал картинки.

С песнями и рисунками в него входило самое волшебное, что дано человеку в жизни, — умение понимать прекрасное.

Первые книжки...

Первые сказки, прочитанные матерью...

Великаны и феи, ведьмы и храбрые солдаты — они чередой выходили из книжек и поселялись в воображении мальчика. Сначала сказочные герои были копиями, сошедшими с книжных иллюстраций, но со временем они преломлялись в его сознании: великаны почему-то имели уродливо короткие руки, а солдаты были одеты во все черное...

Милые детские книжки! На их страницах умещался целый мир. И казалось тогда, нет в мире другого мира...

В четыре года мальчик Эйжен научился читать...

В пять лет — писать.

Мать волновалась:

— Надо забрать у него книжки! Он может заболеть.

Она не знала, что Эйжен уже заболел...

Заболел книгами на всю жизнь.

Да, в четыре года мальчик научился читать.

В пять лет — писать.

А в шесть лет над ним впервые просвистели пули...

Они жили тогда в Ревеле. Отца временно перевели на один из тамошних заводов.

На рождество мать с сыном поехали в Ригу навестить родных. Остановились у дяди Германа. Брат матери был человеком веселым, любил рассказывать смешные истории и сам первый зали-

висто смеялся над ними. Высокий, с чуть сутулой спиной — от многолетних стояний у токарного станка — он представлялся Эйжену могучим и сильным. Почти таким же сильным, как отец.

Крюгеры жили в маленькой квартирке на улице Матиса, в доме, заселенном такими же, как дядя Герман, рабочими.

Вставали по гудку соседнего заводика — гудку сиплому, как голосзавятого выпивохи, — и сразу же дом начинал дрожать от торопливого топота: очередная смена собиралась на работу. Потом топот сменялся детским криком и плачем — это поднимались многочисленные девчонки и мальчишки и требовали: хлеба, молока, картошки! Впрочем, еду они просили весь день... Бегали с кошелками на базар хозяйки, успевая и проследиться, и беззлобно поругаться между собой, и отшлепать неугомонных детишек.

По ночному гудку — еще более сиплому — дом затихал.

Обычный дом, каких в Риге было множество, где рядом с людьми постоянно жили нужда и голод, болезни и горе.

... С вечера дядя Герман объявил, что завтра на работу не пойдет, потому что решено всем городом выйти на демонстрацию и требовать от генерал-губернатора улучшить жизнь рабочих.

— И еще хотим мы поддержать петербургских рабочих, в которых в прошлое воскресенье по приказу царя стреляли на Дворцовой площади. Пойдешь со мной, Эйжен! — спросил дядя, искоса поглядывая на сестру. — Посмотришь, как много нас — таких, как твой отец, как я...

— Нечего ему там делать! — забеспокоилась мать. — Слабый он совсем. Недавно переболел...

— Слабый! Подышит рабочим воздухом, сразу окрепнет. Что скажешь, племянничек! Ты ведь настоящий мужчина, а!

— Настоящий, — тихо ответил Эйжен.

События того дня навсегда войдут в него. И

никакие волны жизни не в состоянии будут смыть их со скалистого острова памяти.

... Демонстранты неторопливо шли по Маринской улице к набережной Даугавы. Под ногами тысяч людей кудрявился легкий снежок.

Цепко ухватившись за шершавый палец дяди Германа, мальчик шел в колонне. Перед собой он видел широкие плечи незнакомых дядей, а чуть левее — острые плечики какой-то девочки, одетой в длинное, почти до пят, пальтишко, отороченное стареньким мехом. Изредка девочка оглядывалась и корчила Эйжену смешную рожицу, выпячивая нижнюю губку. Мальчик отворачивался и крепче сжимал дядин палец.

Так шли они, вдыхая в себя морозный воздух...

Миновали привокзальную площадь, где к их колонне примкнула колонна поменьше. Впереди шел невысокий старик с седыми усами. Старик держал в руках длинную палку, к которой было привязано красное полотнище.

— Почему этот флаг красный? — спросил Эйжен дядю.

Ответа Эйжен не услышал. Демонстранты запели, и дядя (так показалось Эйжену) запел громче всех:

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут,
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут...

Песня, казалось, захватила не только улицу, по которой шли рабочие, но и весь город — от тихих домиков Задвинья до прокопченных дымом холмов Мюльграбена.

От этой песни, или оттого, что он на равных шагает рядом со взрослыми дядями и тетями, у Эйжена сделалось необыкновенно легко на душе, и он вдруг засмеялся счастливым смехом.

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

— неслось над Ригой. И за этими словами, за могучей мелодией «Варшавянки» никто не услышал, как весело смеется маленький мальчик Эйжен.

Нам ненавистны тиранов короны,
Цепи народа-страдальца мы чтим,
Кровью народной залитые троны
Кровью мы наших врагов обагрим.

Вдруг впереди послышались резкие хлопки (Эйжену показалось, что кто-то рвет красное полотнище, которое нес усатый старик), песня оборвалась на полуслове, ряды демонстрантов смешались...

— Солдаты! Солдаты стреляют! — послышалось со всех сторон.

Снова и снова кто-то рвал полотнище...

— Ложись! — громко крикнул дядя Герман и легким нажимом руки повалил Эйжена на мостовую. — Гады проклятые! — прорычал он, прикрывая мальчика.

Рвалось...

Рвалось...

Рвалось полотнище!

Часто-часто билось маленькое сердце Эйжена, прижатое к запорошенной брусчатке мостовой.

В любую секунду оно могло оборваться...

Лежавший рядом дядя Герман то успокаивал племянника, то на чем свет крыл и солдат, и губернатора, и царя со всей его семейкой, и еще кого-то и что-то...

Эйжен слышал, как кругом бегали и кричали люди.

Как рвалось... рвалось полотнище...

И что-то свистело и жужжало вокруг...

Он приподнял голову, чтобы узнать, кто это посвистывает и жужжит. И первое, что увидел:

Личико девочки со смешно оттопыренной губкой...

Потом разглядел все ее тельце, закутанное в старое, не по росту пальтишко. И Эйжену захотелось сказать лежащей на мостовой девочке что-то доброе, успокаивающее, что твердил ему дядя Герман. Он снова взглянул на лицо девочки и внезапно увидел...

Как по ее губке — паутинно-морщинистой...
Тонкой стружкой...

Сбегает алый ручеек.

А вокруг головки девочки — засекла его память, — постепенно расширяясь...

Нежно-красным цветом...

Набухал снег.

Тут снова разорвалось полотно...

Эйжен уткнулся головой в мостовую и, наверное, потерял сознание. Потому что все остальное — как сильные руки подняли его с мостовой и перенесли в подъезд ближнего дома, как упал, подкошенный залпами, старик с красным знаменем, как падали и не вставали другие рабочие — все это он узнал позже из рассказов дяди Германа.

...Так впервые в жизни Эйжен Веверис услышал свист пули и увидел, как краснеет от человеческой крови снег.

Алый снег девятьсот пятого года...

Свистели пули...

Субботные дни...

Ни один из них в отдельности Эйжен не запомнит. Они сольются в его памяти воедино и оставят в ней зримо-контрастный след.

По субботам он любил встречать отца у заводской проходной.

Эйжен знал, что в эти дни на заводе выдают жалованье и на обратном пути отец непременно купит ему что-то вкусненькое.

Он любил субботы и за то, что по этим дням

отец гораздо чаще смеялся, подробно расспрашивал сына о его делах. И, конечно же, за то, что по пути домой они вместе строили планы на завтрашний день — сладостно-волнующие планы о прогулках по лесу или рыбалках.

Мальчик приходил к проходной задолго до гудка. Но не было случая, чтобы он был первым. Две-три женщины неизменно опережали его. Постепенно народу у ворот прибавлялось, и к моменту, когда над улицей раздавался мощно-басовый гудок, перед проходной стояла плотная толпа...

Молчаливая, с выжидательно застывшими лицами толпа женщин и детей.

В те годы Эйжен не мог сравнить ее с толпой, которую он не раз увидит потом перед воротами тюрем. Это сравнение придет позже. А тогда...

Тогда он видел суровые, замкнутые лица женщин. Видел, как глаза этих женщин словно выхватывали кого-то из людского потока.

Женщины устремлялись к своим мужьям и еще на ходу протягивали требовательные руки: «Давай! Давай деньги!». За матерями бежали дети и также требовательно просили: «Давай!».

И тут же устремлялись в ближайшую лавочку, чтобы купить хлеба...

Хлеба...

Хлеба...

Хлеба!

Как можно больше! Будто хлебом можно запастись впрок...

Нет, он никогда не забудет голодных глаз женщин и ребятишек возле проходной!.. Субботние голодные толпы...

Со временем они олицетворяют в сознании Эйжена все несчастья и страдания рабочего люда.

На одном из бесчисленных островков памяти Эйжена уместилась поездка в Москву.

Зачем рабочего Августа Вевериса послали в

Москву — мальчик не знал. Став взрослым, он не сможет вспомнить и точный год этой поездки. Но так ли важно для памяти сохранить причину или дату события, если оно, подобно фотографическому отпечатку, рельефно и четко проявится в сознании!

Они ехали в тряском и скрипучем вагоне. Тусклый свет огарка освещал лица спящих впопалку людей. И лицо отца — с проросшей вдруг щетиной на серых щеках — показалось Эйжену истомленным, а потому и чужим.

Отец, которого мальчик всегда и везде отличал и выделял из прочих людей, слился вдруг с общей массой. И мальчик почувствовал себя одиноким и никому не нужным.

И тогда к нему пришел страх. . .

Страх одинокого существа, окруженного равнодушием. (Десятилетия спустя он не единожды переживает это чувство, но каждый раз оно будет рождаться заново.)

Тогда, лежа на вагонной полке, Эйжен закричал от переполнившего его страха. А может, ему только показалось, что он кричит!

Москва поразила воображение Эйжена чудом.

Нет, это были не цирковые шпагоглотатели или женщины-пауки, которых в те годы часто показывали на базарах. . .

Это было истинное чудо — чудо открытия. Кто знает, может, именно тогда в мальчике начал пробуждаться поэт.

Почему они оказались у Донского монастыря? Скорее всего, случайно. Август Веверис, лютеранин, веровал скорее по привычке, нежели из убеждения. К любой религии он относился равнодушно. Проходя мимо древнего монастыря, Август Веверис проявил естественное любопытство.

Уже сами ворота, с возвышающейся над ними притворной церковью, показались мальчугану сказочным входом в какой-то волшебный мир, хотя по обе стороны ворот сидели и стояли вполне реальные нищие. Грязные, со всклоченными бородами, с длинными костлявыми руками, они

что-то гундосили вслед прохожим — не то молитвы, не то проклятия. . .

Такие же нищие бродили и по монастырскому двору.

— Зачем они здесь? — спросил мальчик у отца.

— А кто их знает, сынок. Скорее всего, от горя, от несчастья.

— А несчастье — это больно!

— И больно, и плохо, и вообще. . .

Но мальчик уже не слышал. Не отрываясь, он смотрел на стоящий посреди широкой площади собор.

Белоснежный, со сверкающими золотом крестами, он словно плыл над землей, слегка покачиваясь в мутном мареве неба. . .

Да это же корабль! Белоснежный парусник! И мчится он в неведомые моря!

В Риге мать изредка водила маленького Эйжена в церковь. Но была та церковь по-обыденному проста, а пастор, что-то длинно и нудно говоривший в гулкой тишине, был для мальчика таким же обыкновенным человеком, как и прохожие на улицах. Здесь же. . .

Здесь все словно бы являлось из какого-то другого мира — мира незнакомого, а потому влекущего к себе.

Они зашли в большой собор.

На Эйжена навалился низкий и тяжелый свод.

Мальчик прижался к отцу. Он почувствовал себя совсем беспомощным под взглядами многочисленных глаз, глядевших на него со всех сторон.

Глаза. . .

Глаза. . .

Глаза. . . .

Остро пронизывающие и печальные, задумчивые и надменно-бесстрастные, хитро-земные и отрешенные. . .

Глаза стариков с неземными и одновременно реальными ликами. . .

Глаза женщин в тонком овале лиц. . .

Каждый раз, встречаясь с ними взглядами,

Эйжен вздрагивал и отводил взор, чтобы тут же встретиться с новым взглядом.

Глаза...

Глаза...

Глаза...

Зачем они смотрели на него? На него и всех прочих, кто находился в соборе. Что вопрошали и что хотели сказать?

Мальчик не знал...

Вдруг Эйжен заметил, что все взоры молящихся обращены в одну сторону.

Там, в богатой — из серебра и золота — ризе стояла икона (это была знаменитая икона Донской богородицы, писанная в середине XVI века). Женщина держала на руках ребенка.

Нежное печальное лицо ее показалось мальчику очень похожим на кого-то... На кого? Он не вспомнил и поэтому вскоре забыл о нем.

Зато мальчика, которого женщина держала на руках, он припомнит много лет спустя. Этот младенец — беспомощный и кроткий — походил лицом на крохотного старичка. Старичка мудрого от немногих горько прожитых лет и одновременно по-детски хрупкого, легко ранимого.

Именно вот такие мальчики-старички и девочки-старушки будут глядеть на Эйжена из-за колючей проволоки такими же вот печальными и страшными в своей мудрости глазами, окруженными сетью морщин.

И будут те вдруг состарившиеся дети ждать своей очереди в газовую камеру...

2

В тот год пули снова свистели над миром... Свистели уже третий год подряд.

Когда окончится первая мировая война и дошные статистики подведут итоги всечеловеческого кровопролития, окажется, что эти пули (снаряды, газы, гранаты, эпидемии и голод) скосили около двадцати миллионов людей.

За эти двадцать миллионов трупов германская фирма Круппа получит свыше 52 миллионов марок прибыли — по 2,6 марки за труп...

За те же двадцать миллионов трупов американские корпорации положат в сейф 4 миллиарда 422 миллиона долларов дохода — по 221 доллару за труп.

Так сколько же стоит человеческая жизнь!

Сколько стоят...

Архимеды...

Рабле...

Пушкины...

Уитмены...

Толстые...

Эйнштейны...

Райнисы!

Сколько ты стоишь, человек!

В тот год юноша Эйжен не задавал себе этих вопросов.

В тот год от него навсегда ушло детство. Через семь лет к нему придет детство другое — в образе бесчисленных мальчиков и девочек, которым он станет добрым другом и советчиком. Что-то он возьмет себе от этих ребятишек. Но еще большее отдаст им...

В тот год Эйжен стал солдатом. Одним из 73 миллионов 515 тысяч солдат, призванных под знамена первой мировой войны. Различные по расцветкам или по геральдическим знакам, намалеванным на них, эти знамена (юноша еще не подозревал этого) не стоили того, чтобы умирать под ними.

Как и многие его сверстники, Эйжен поверил словам.

Их было бесчисленное множество, этих слов — понятных и туманных, призывных и доверительных. Ими расцветчивались брандмауэры и заборы; их печатали в типографиях, выкрикивали газетчики и «народные трибуны» Я. Голдман и Я. Залит, их произносили родственники и друзья.

Слова эти служили для выражения старой как мир мысли: «Иди и убей!».

Разумеется, в таком неприкрыто-голом виде их не произносили. Три этих слова дошли до сознания Эйжена обряженными в сусальное золото эпитетов и сравнений: «Защити святую Латвию!», «Умереть на отчем пороге — что может быть прекрасней!», «Сыны матери-Латвии! Не допустим врагов в родной край!», «Докажи, что ты не трус, — вступай в батальон!».

Эйжен поверил этим словам.

И как было не поверить, когда все (так он тогда считал) верили им. Ушли в латышские национальные батальоны многие ребята с их двора. Стали солдатами даже недавние гимназисты-хлюпики, некогда с упоением читавшие наизусть речи Цицерона, но не умевшие отличить гаубицу от мортиры.

Нет, он не был трусом и не хотел, чтобы мать-Латвию топтал немецкий сапог.

И даже сам дядя Герман не мог убедить его в обратном. Да, он согласен с ним: вся эта сусальная болтовня, залихватские марши военных оркестров и дешевая мишура призывных пунктов понадобились властям, чтобы привлечь в армию таких как он парней. Но он должен выполнить свой патриотический долг! Должен стать солдатом! Чтобы немцы действительно не пробрались в его родные Гризини*, как они уже пробрались в Курземе.

Эйжен поверил. . .

Сборный пункт находился почти на самом углу Елизаветинской и Дерптской улиц**.

Когда Эйжен с матерью и отцом пришли сюда, на площадке, огороженной дощатым забором, толпилась добрая сотня новобранцев вперемешку с провожающими, которых было гораздо больше.

Над толпой застыл непрерывный гул: люди кричали, плакали, пели, смеялись, играли на гармошках, обнимались, жадными глотками что-то пили

* Гризинькалнс — рабочий район Риги.

** Ныне улицы Кирова и П. Стучки.

из прихваченных с собой бутылок. Пили, задрав головы и уставившись хмельными глазами в июльское небо.

Рядом с Веверисами стояла пожилая сухонькая женщина. Неотрывно глядя в лицо сына, она держала в морщинистых руках его большие ладони и глуховатым голосом твердила одно и то же имя:

— Волдис!

Твердила монотонно — «как молитву», — подумалось тогда Эйжену. Сын же — высокий, здоровенный парень — ничего не говорил матери и не пытался даже стереть слезы, сбегавшие двумя дорожками по его щекам, покрытым легким пушком...

Справа от себя Эйжен увидел стройного господина в черном котелке и щегольской «тройке». Он держал под руку молодую женщину, которая непрерывно чему-то смеялась, ласково поглаживая холеной ручкой наголо остриженную голову новобранца — угрюмого юноши. Эйжен так и не успел понять, кем доводилась смеющаяся женщина будущему солдату: сестрой, теткой, просто знакомой? Но только не матерью...

Увидел Эйжен и молодую пару — новобранца с огненной щетиной коротко остриженных волос и девушку, почти подростка, доверчиво прижавшую головку к плечу парня. Девушка изредка вздрагивала, и тогда на ее спине золотистыми змейками трепыхались косы...

Все это Эйжен успел заметить в те кратчайшие мгновения, когда отрывал взгляд от матери и отца. Они стояли, обняв сына, словно пытаясь отгородить и защитить его от окружающих людей — людей чужих и чем-то даже враждебных, и от самой войны, которая ворвалась в их дом. Мать молча плакала. Безысходное отчаяние потушило ее глаза — улыбчивые глаза красивой и горячо любимой. Отец вдруг постарел. Он что-то говорил Эйжену — должно быть, ободряющее, — а сын отвечал, не вдумываясь в слова, видя и не видя происходящее вокруг.

И мать и отец понимали, что в эти минуты война забирает у них не просто сына, с его немного нескладной фигурой, с его [только его!] прищуром глаз и ломким голосом, но и нечто большее, что не выразишь никакими словами и ничем не измеришь.

Вдруг над плачем и смехом, над песнями и криками прогремело:

— Строиться!

Многokrатно повторенное каждым из находившихся на площадке сборного пункта это слово эхом разнеслось (как показалось Эйжену) над всей Ригой:

— Строиться! Строиться! Строиться!..

И в наступившей после этого внезапной тишине люди услышали истощный, исходящий из самих глубин души материнский крик:

— Во-о-о-о-л-дис!

... Потом новобранцев вели к набережной Даугавы.

Впереди, четко печатая шаг, шел усатый обвешанный медалями фельдфебель. А по бокам колонны, без усталости махая руками и выкрикивая прощальные слова, шли провожающие.

На паперти кафедрального собора, мимо которого проходила колонна, Эйжен увидел пеструю группу нищих. В пояс кланяясь новобранцам, нищие часто-часто крестились и осеняли крестным знамением одинаково подстриженные головы молодых ребят.

И Эйжен внезапно почувствовал, как спало внутреннее напряжение, охватившее его на сборном пункте, как ровнее и спокойнее стало биться сердце. «Неужели, — спросил он себя в ту минуту, — бог, всевидящий и всепонимающий, руками этих старух и стариков благословляет нас на грядущий бой? А может быть, есть нечто высшее, чем бог, что ведет человека через жизнь и смерть?»

Меньше чем через полгода война ответит ему

полной мерой. Ответит страшными в своей бессмысленности боями у Пулеметной горки.

... Они шли плотной нестройной цепью, подбадривая себя криками.

Эйжен шел вместе со всеми, держа наперевес винтовку, видя лишь острие штыка на снежном фоне. Казалось, ничего, кроме этого острия, он не видел...

А память фиксировала мельчайшие детали, встречавшиеся на пути...

Заснеженные стебли осоки...

Продрогший на декабрьском ветру тоненький березовый прутик (на нем трепетал одинокий листок)...

Разлапистую елочку, всю усыпанную блестками (Эйжен мигом подумал, что такие точно елки отец ежегодно приносил на рождество — самый любимый праздник детства)...

Кустики ивняка, сиротливо торчавшие на кочковатом болоте...

Бесчисленные воронки от снарядов — то свежие, заполненные черной водой, то старые, прикрытые запорошенным льдом...

Эйжен видел перед собой то, что обычно видит в бою каждый солдат: суженный до предела мирок, в котором умещается он сам, со своими мыслями и чувствами, со своей жизнью и смертью.

Как и всегда, смерть была впереди...

Она летела навстречу Эйжену кусками свинца, которыми прошивали замерзшее болото немецкие пулеметчики...

Она звучала над ним визгом снарядов, разрывавших там и тут цепь стрелков.

Как и всегда в жизни, смерть была впереди...

И он шел ей навстречу — туда, к черневшему лесу, где на поросших соснами и елями дюнах находились немецкие позиции.

Они — стрелки 5-го Земгальского полка — должны были взять эти позиции без артиллерийской подготовки, без достаточного запаса патронов. Только несколько «максимов» прикрывали их

наступление. Голодные, промерзшие от многодневного лежания на снегу, они шли в атаку, которая для многих стрелков окажется последней.

Изредка цепь залегала, и тогда Эйжен вместе со всеми стрелял — стрелял не целясь, потому что впереди, кроме леса, не было ничего видно. В эти короткие мгновения ему казалось, что своими выстрелами он отгоняет смерть. Но это только казалось, потому что, вставая, он замечал фигурки стрелков, которые так и оставались лежать на снегу. Смерть, не выбирая, косила и идущих в рост людей, и лежащих на снегу.

Свистели пули...

Выли снаряды...

Дрожала земля...

Хрипло кричали люди.

Впереди себя Эйжен увидел наклонившуюся сосенку с отбитой макушкой. «Вот дойду до нее и лягу, — подумал он, собираясь с силами, чтобы непременно дойти. — Дойти, дойти, дойти!» — частыми молоточками застучало у него в висках.

И вдруг наступила тишина. Эйжен не понял, почему вокруг внезапно смолкли выстрелы и визг снарядов, почему он оторвался от земли и бежит, нелепо перебирая ногами...

Но также мгновенно он всем телом почувствовал сильный удар и увидел, как что-то черное и липкое поползло по нему вверх, к голове.

От нестерпимой боли и жуткого страха он закрыл глаза...

И потерял сознание.

Эйжен пришел в себя и оглянулся. Он увидел, что лежит на краю воронки от снаряда, до пояса погруженный в топкую грязь.

Попытался подняться, но острая боль перехватила спину, и он откинулся на терпко пахнущую порохом землю. Прислушался. Звуки боя доходили до него приглушенными, словно из-за плотной стены. В ушах комариным писком непрерывно звенела тонкая струна.

Лежа на болоте, вслушиваясь в звуки не окончившегося еще боя, Эйжен вдруг отчетливо

увидел перед собой пеструю группу нищих на паперти кафедрального собора, осенявших новобранцев крестным знамением. И дикая злоба против них, против самого бога закипела в нем.

Злоба эта вылилась в яростный и громкий крик — крик отчаяния и боли.

И этот крик навсегда оборвал его короткую юность.

... Отходившие после неудачной атаки стрелки подобрали бесчувственного Эйжена и приволокли его на санитарный пункт.

3

Первое, что услышал Эйжен, очнувшись после контузии, было тоненькое теньканье синицы.

Фронт молчал.

И только синица, уцепившись лапками за веточку березы над его головой, тенькала и тенькала — жалобно и тревожно, — не то зовя кого-то, не то отгоняя злых лесных духов...

Контузия оказалась легкой, и Эйжен вскоре был в строю. Новый — 1917 год — встретил в лесу, возле неяркого костра, у которого спасались от яростного мороза с полдесятка таких же как он стрелков — измученных беспрерывными боями, вечным недоеданием. Измученных — и это главное — бессмысленностью их теперешнего существования.

Среди солдат ползли слухи об офицерах-предателях, умышленно посылавших людей под кинжальный огонь германских пулеметов, о продавшихся немцам генералах, о царице, окружившей себя шпионами-сановниками.

Эйжен верил и не верил слухам, не в состоянии еще понять, что же происходит с ним, с десятками, сотнями и тысячами людей, одетых в серые («на рыбьем меху») шинели.

Люди хотели вернуться в привычный мир привычных дел. Недаром же возле солдатских костров так часто говорили о земле, которая стос-



ковалась по плугу, о ребятишках и женах, оставшихся без отцовской и мужней ласки... Жадно читали письма из дома (своего и чужого), искали в них главное, самое заветное слово: «мир».

Мира хотели и эти парни-латыши из Вольмара, Айнажей, Риги, Двинска, и ребята-сибиряки из далеких иркутских деревень, из Пензы, Тюмени, Омска.

Мира хотел каждый в отдельности и все вместе.

Как вскоре выяснилось, мира хотели и немцы, засевшие в неглубоких окопчиках по ту сторону промороженного насквозь болота.

Оказывается (об этом раньше как-то не думалось), и у них есть жены, ребятишки и тот же привычный мир привычных дел.

Оказалось, что и они — люди, насильно согнанные в полки и дивизии и насильно брошенные в гигантскую мясорубку.

Оказывается, с ними можно говорить не только языком пуль и штыков, но и языком всепонимающих глаз и жестов.

Началось братание.

И было оно не просто проявлением общечеловеческих, гуманных чувств людей, истомленных войной, а воплощало в себе великий революционный дух — дух братства во имя общей победы трудового люда над своими угнетателями. В сущности, помноженное на революционное самосознание, на ненависть к царю и всему «царскому», братание стало знаменем тех весенних дней, родивших Октябрь.

Впоследствии, когда время отделит Эйжена от январских, февральских и последующих весенних дней семнадцатого года, когда более яркие и более важные события заслонят их собой, он увидит, что те дни несли в себе заряд необычной силы. Он еще не будет знать, что это за сила, и не сразу найдет ей определение. Но почувствует, что наивный доброволец-стрелок навсегда останется там — за дощатым забором призывного пункта,

на кочкастом болоте возле Пулеметной горки, в зимнем лесу, где одиноко и жалобно тенькала синица...

Шла весна...

Низкие пепельные облака как-то вдруг посветлели, поднялись ввысь и, разорванные в клочья теплым ветром, журавлиным пухом понеслись навстречу солнцу.

Над макушками берез, над зарослями ольшаника, над нежными лугами зацвиркали неугомонные вальдшнепы — первые вестники теплых дней.

Громче и громче становились грачиная перебранка и скворчинный пересвист...

Шла весна...

Но в этот раз она не принесла с собой живоительно-одуряющих запахов лопающихся почек, прорывающихся к теплу трав и звонких талых вод. Прострелянные вкривь и вкось леса, перелески и болота бозле озера Бабите отдавали каленым железом, порохом и солдатским потом...

А еще тут пахло трупами. И этот тошнотворный удушливо-сладкий запах — вечный спутник войны — Эйжен будет помнить всегда. Во второй его жизни этот запах сольется с запахом дыма — черного дыма крематориев в Маутхаузене. Но это будет несколько десятилетий спустя...

И все-таки мир обновился! Не только оттого, что пришла весна. А потому, что это была весна 1917 года.

В сущности, той весной рождался новый мир. Рождался в окопах...

В солдатских землянках...

На митингах...

На митингах он хрипло надрывался в спорах и столкновениях с миром старым, отживающим.

На одном из таких митингов (они случались почти каждый день) 5-го Земгальского полка, в котором служил Эйжен, он услышал, как высокий изможденный стрелок говорил:

— Господин Акуратер* и все прочие тыловые крысы зовут нас продолжать войну «до победного конца». Так пусть сам Акуратер возьмет винтовку и идет в наступление. Пусть покажет пример... А с нас хватит!

Вскоре их полк сняли с передовой и отправили в Ригу. Часть стрелков разместилась в школе на Малой Альтанавской улице. Несколько раз за отказ идти в наступление, задуманное Временным правительством, стрелков пытались разоружить. Жандармы шли приступом на школу, но фронтовики недаром были фронтовиками: забаррикадовав двери и окна, они отбивали наскоки «синих мундиров».

В те дни Эйжен спрашивал себя: как же так — царя Романова скинули, с самодержавием покончили, а Временное правительство, именующее себя народным, продолжает царскую политику, продолжает гнать людей на бойню. Неужели правы большевики, зовущие солдат к новой революции? Но ведь новая революция — это новая кровь, новые бесчисленные жертвы...

Ох, как не просто было Эйжену разобраться во всем многообразии событий и фактов той памятной весны. Порой он плыл по течению, подчиняясь тем, у кого голос был покрепче, чьи лозунги, казалось, отвечали на все мучившие его вопросы. Но через несколько дней Эйжен убеждался, что эти лозунги — лишь старая, но перелицованная песня о «победе над германцами».

В сумятице тех дней Эйжен чувствовал себя растерянным и жалким, а потому презирал себя, свою неустойчивость и мягкотелость. Он видел, как все больше и больше латышских стрелков становилось на сторону новой переделки мира, на сторону большевиков. Тем более, что к этому времени (стояли жаркие июльские дни) даже самым неискушенным во всех тонкостях политики стрелкам стало ясно, что под видом войны с немцами контрреволюция старается подавить

* Янис Акуратер — писатель-реакционер.

революцию внутри страны. Уже сам тот факт, что командование XII армии вдруг решило снять латышских стрелков с фронта и из Риги отправить их «на отдых» в далекий тыл, говорил о многом. И прежде всего о том, что власти боялись стрелков, боялись их революционного влияния на народ, на всю армию.

Да, командование готово было оголить фронт и сдать Ригу немцам, лишь бы выбить из рук стрелков оружие — оружие революционных солдат. Позднее Эйжен, как и все стрелки XII армии, узнает, что сдача Риги понадобится генералу Корнилову для того, чтобы открыть немцам дорогу на революционный Петроград. Первым шагом на этом предательском пути станет сдача немцам позиций на «Острове смерти» — тех самых позиций, за которые велись ожесточенные бои в 1915 и 1916 годах.

... 19 августа под прикрытием сильного артиллерийского огня немецкие войска форсировали Даугаву в районе Икшкиле и обошли главные силы XII армии.

На других направлениях начались ожесточенные бои за Ригу. В этих боях участвовал и Эйжен Веверис...

21 августа 1917 года Рига была занята немцами.

Но перед этим в течение 26 часов — с 16 часов 19 августа до 18 часов 20 августа — 5-му Земгальскому полку пришлось принять на себя удары главных частей немцев у Малой Юглы.

От того, выдержат ли стрелки этот бой, сдержат ли натиск наступающих частей противника, в конечном итоге зависело — попадет или не попадет в окружение вся XII армия...

Впоследствии, когда эти 26 часов боя окажутся позади и временами станут всплывать в памяти Эйжена, они обратятся в минуты — в 1560 минут непрерывного боя.

Почему произойдет такое дробление? Наверное, оттого, что время длительно-непрерывных фи-

зических и нравственных потрясений человек под-сознательно разбивает на неопределенно-короткие промежутки, которые позволяют ему сжимать в тугой клубок свои чувства, свою волю, а значит и пересиливать, перебарывать в себе страдания.

Не все из этих 1560 минут Эйжен запомнит...

Но некоторые останутся с ним на всю жизнь.

Первая минута...

Шквал артиллерийского и пулеметного огня обрушивается на позиции стрелков. Вздрагивает и колеблется под ногами земля, колеблется воздух. И вообще все вокруг становится зыбким и неустойчивым.

Эйжен лежал, крепко прижавшись к стене окопа, по которой нескончаемой стружкой стекал песок. «Песочные часы», — вяло промелькнуло в его сознании.

А в ушах непрерывно стоял и стоял гул канонады.

Потом была другая минута...

Какая по счету! Он не знал. Просто это был короткий промежуток времени, когда первая волна наступавших немцев отхлынула, а вторая еще только собиралась с силами за недалекими холмами.

И в этот момент наступила тишина.

По странному совпадению на всем фронте не раздалось ни единого выстрела. Тишина была настолько жуткой, что у Эйжена до боли зазвенело в ушах и не в силах справиться с ней он вдруг запел... запел старую немецкую песенку:

Ein Männlein steht im Walde,
So still und stumm...*

Много часов позже, на пути в тыл, Эйжен вспомнит этот момент боя и постарается понять, почему именно эта полузабытая песня с ее наивной, простенькой мелодией пробудилась в нем...

* Стоит в лесочке мужичок,
Немой и тихий...

Очевидно, решит Эйжен, в тот момент в его сознании замкнулась своеобразная ассоциативная цепочка: звенящая тишина напомнила немого тихого мужичка, потом — судьбу глухого Бетховена, а от него сознание мгновенно перекинулось на 9-ю симфонию, лейтмотивом которой служит эта наивная песенка...

Годы и годы спустя он напишет отличное стихотворение о Германии Бетховена и Германии Гитлера. И кто знает, может быть, одна из 1560 минут на Малой Югле стала ключом к ритмам этого стихотворения...

1560 минут у Малой Юглы...

Среди них была и такая, когда казалось, что немцы лавиной ворвутся в окопы, когда между «быть» и «не быть» стояла хрупкая перемычка из человеческих нервов, воли и мужества. И все-таки эта перемычка выдержала! Значит, не такой уж хрупкой она оказалась! Значит, решит Эйжен впоследствии, во мне и в моих товарищах произошли какие-то сдвиги и, кроме обычных ощущений, переживаемых каждым человеком в бою, в нас вошло нечто новое, чего не было у Пулеметной горки... Историки назовут это новое «повышенным революционным самосознанием латышских стрелков» и их «железной дисциплиной».

Будущие историки напишут также, что за доблесть и отвагу, проявленные в боях у Малой Юглы, в 5-м Земгальском латышском стрелковом полку были награждены георгиевскими крестами 642 стрелка и 22 офицера. Одновременное награждение более чем трети личного состава полка было фактом, подобного которому не отмечалось во всей русской армии.

В тех боях Эйжен стал настоящим солдатом.

В тех боях к нему вместе с бетховенской мелодией пришло чувство, которое он пронесет через обе жизни — чувство личной ответственности за все происходящее на земле. И скажет он:

Над юностью моей просвистели пули
В битвах на Тирельских болотах,

И раскопали сердца друзей моих,
Пламенные,
Как «Марсельеза».*



Среди больших и важных событий лета 1917 года, среди боев и отступлений, среди бесчисленных митингов, ночных сполохов и вязкой пыли дневных переходов, казалось, затерялся Эйжен — с жесткой скаткой, царапавшей шею, с винтовкой, с давно не стиранной гимнастеркой и обтрепанными обмотками вокруг жилистых ног.

Вместе с такими же стрелками он шел безымянными проселками мимо бесчисленных хуторов — Киршей, Аболиней, Берзиной или Салминой — мимо колодезных журавлей, седых яблонь и столетних придорожных вязов, мимо веселых речушек и задумчивых рощиц. И никто из этих стрелков не знал, да и не мог пока знать, что идут они не просто по родимой земле, по иссеченной холмами Видземе, а что шагают они в революцию, в то будущее, которое потрясет мир.

Не могли они знать и того, что это хаотичное (как им казалось в те дни) отступление — с беспорядочными контратаками, с вылазками разведчиков, с арьергардными боями — вскоре превратится в твердую оборону, а потом и в наступления, которые обратят латышских стрелков в красных латышских стрелков, а армию в целом — в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. И произойдет это не само собой и не по воле случая, а по неумолимым законам революции.

И все-таки им было невообразимо горько...

Горько было уходить от родной земли.

* Все цитируемые в книге стихи Эйжена Вевериса даны в переводе Г. Горского.

Но они пересиливали в себе эту горечь расставания.

Из всей массы событий, свершившихся во время этого перехода — перехода из прошлого в будущее — Эйжен запомнит короткий отдых в Сигулде.

Здесь впервые чуть ли не за неделю выдали горячую пищу. Здесь же, с давно не испытанным наслаждением, Эйжен искупался в Гае...

Потом была Валмиера...

Несмотря на то, что город до отказа переполнили солдаты разных частей — от пехотных до аэроплановых — Эйжен поразился царившему в нем порядку. Не было здесь ни панической суеты, ни мародерства, столь характерных при отступлении крупных воинских подразделений. Солдат кормили, оказывали им медицинскую помощь, распределяли по ротам и полкам...

Словом, чувствовалось, что в Валмиере имела твердая военная власть. И этой властью был Исколастрел — Исполнительный комитет латышских стрелков. Организация эта возникла сразу после Февральской революции и состояла главным образом из большевиков. Именно благодаря Исколастрелу латышские полки, да и почти вся XII армия, быстро превратились в подлинно революционный авангард.

В Валмиере Эйжен был на митинге, организованном Исколастрелом. Среди ораторов, выступивших на том митинге, он запомнил кражистого, с открыто-простым лицом рабочего, Якова Петерса, (будущего крупного чекиста) и недавно назначенного комиссара латышских полков — Семена Нахимсона, невысокого, складного, с выразительными и немного грустными глазами. Оба они говорили о самом главном, что в те дни тревожило стрелков: о предательстве генерала Корнилова, о том, что необходимо сместить и изгнать из полков тех офицеров, которые сотрудничали с корниловцами.

Митинг единогласно потребовал немедленно предать революционному суду Корнилова, Кале-

дина, Гучкова, Гоппера, Бриедиса и некоторых других офицеров.

Вместе со всеми за эту резолюцию голосовал и Эйжен Веверис.

Валмиере суждено будет стать суровой и памятной вехой в его жизни. На маленький остров его воспоминаний о солдатском митинге семнадцатого года через четверть века насядут пласты мук и смертей... И тогда — четверть века спустя — он подумает, что недаром голосовал в Валмиере за большевистскую резолюцию.

Затем стрелки пришли в Валку. В те дни вся Валка светилась золотисто-багряным светом осени, и Эйжен с удовольствием бродил по тихим улочкам... Впрочем, тихими эти улицы были разве что в ранние, предрассветные часы.

Валка жила бурными событиями. Контрреволюция делала все новые и новые попытки расформировать (или хотя бы перевести в глухие медвежьи углы) латышские полки. В места их сосредоточения направлялись казаки и «смертники» (привилегированные роты и батальоны, состоящие главным образом из кулацких сынков и деклассированного сброда), которые должны были разоружить стрелков, перешедших на сторону революции.

Затея контрреволюции провалилась.

Тогда Временное правительство и командование XII армии предприняли новый шаг. Предвидя, что основные революционные события должны развернуться в Петрограде, они решили направить туда некоторые части, в которых большевистское влияние на солдат было не столь сильным, как в латышских полках.

... В тот день на Валкской железнодорожной станции оказалась снявшаяся с фронта кавалерийская часть. И без того переполненная беженцами и разным пришлым людом станция была окружена плотным кольцом кавалеристов, которые требовали вагоны и отправки в тыл.

Эйжен очутился на станции случайно и в первый момент не понял, что тут происходит. Кричали

все — и кавалеристы, и женщины с детьми, и какие-то бородатые дядьки с мешками и коваными сундуками в руках, и невесть откуда взявшиеся матросы.

Небольшая группка латышских стрелков, охранявших станцию, под натиском толпы медленно отступала к вокзалу. И тут, когда Эйжену уже показалось, что за свирепой руганью вот-вот вспыхнет пальба, на вокзальное крыльцо вышел молодой — лет 20—25 — стрелок и голосом, перекрывшим рев толпы, потребовал:

— Тихо! Кавалеристы, давайте вашего командира!

Из нестройных рядов кавалеристов на гнедом коне выехал пожилой полковник:

— Я командир! Требую, чтобы нас немедленно погрузили в вагоны. . .

— А я военный комендант. Предъявите приказ о перемещении части.

— Плевать я хотел на большевистский приказ! Мы. . .

— Вы дезертир и предатель! Сдать оружие!

— Оружие! А ты мне его давал, ты, больш. . . — полковник выхватил наган и не целясь выстрелил в коменданта.

Пуля вдребезги разнесла станционный фонарь, качавшийся над головой коменданта. Ни один мускул не дрогнул на его лице.

— Арестовать! — приказал комендант.

Полковника быстро разоружили и увели.

К застывшим в немом удивлении кавалеристам с речью обратился комендант. О чем он говорил, Эйжен не запомнил. Но, очевидно, это были очень нужные и верные слова — о защите революции, об офицерах-предателях, о том, что пролетариат Петрограда готов свергнуть Временное правительство. Это была короткая, но страстная речь человека, глубоко убежденного в правоте своего дела и отстаивающего свое убеждение не только словами. . .

Когда стихийно возникший митинг окончился и кавалеристы, единодушно прокричав «ура!»

революции, покинули станцию, Эйжен зашел в вокзал. Ему захотелось поближе узнать этого удивительного человека, который в считанные минуты повернул на сторону революции лихих рубак. Там, на станции в Валке, и состоялось знакомство Эйжена с большевиком Янисом Биркенфельдом.

— Такие митинги у нас здесь случаются почти каждый день, — рассказывал Биркенфельд. — Солдатам надо говорить правду. Нашу большевистскую правду! А где я научился быть оратором? В школе, наверное. Ведь я учитель. Кончится война, снова стану детишек учить. Великое это, брат, дело — учить детей уму-разуму.

Но Янису Биркенфельду не суждено было вернуться в школу. Он станет пропагандистом и журналистом, пройдет сквозь бои и тюрьмы, будет дипломатом. Но к мальчишкам и девчонкам не вернется.

А Эйжен Веверис...

Может быть, на той железнодорожной станции состоялась передача из рук в руки своеобразной эстафеты. Может быть, именно эта незабываемая встреча с большевиком и бывшим учителем Янисом Биркенфельдом подскажет Эйжену будущую его профессию учителя.

Валка! Валка! Ты застынешь в душе Эйжена коротким, но памятным мгновением.

Ты, Валка, станешь и его вечно бередящей и щемящей душу болью!..

Что было потом?

Был Псков. Эйжен увидит его сквозь призрачную сетку дождя, словно бы специально написанную неизвестным художником, чтобы подчеркнуть громадьё кремлевских башен и светлое золото церковных головок.

Был Псков, где к стрелкам пришла весть о победе пролетарской революции в Петрограде. Была музыка военных оркестров и бешеная дробь пулеметов в коротких ночных стычках с «контрой».

Впоследствии Эйжен будет вспоминать то время как время непрерывных караулов — у стен Кремля, в дозорах, на складах с продоволь-

ствием и боеприпасами, в комендатуре. Они — стрелки — были часовыми Октября в самом большом значении этого слова и в значении буднично-солдатском. Ведь революция, скажет Эйжен сам себе потом, это не только баррикады и шумные митинги, это не только свержение старого строя, но и рождение нового. А новое требовало и будничных дел.

Там, под Псковом, Эйжен участвовал в боях с противниками революции, которых называли новым словом — белогвардейцы. Это были первые бои армии, рожденной революцией. Ее тоже называли по-новому — Красной Армией.

И Эйжен Веверис стал не только красным латышским стрелком, но и красноармейцем.

Там он впервые услышал о Янисе Фабрициусе — человеке и полководце, которому суждено будет сыграть выдающуюся роль в гражданской войне. Позднее, когда судьба сведет Эйжена с Дмитрием Карбышевым, он сравнит их жизни — очень схожие — и напишет одно из своих лучших стихотворений — стихотворение о Прометее.

В те осенне-зимние месяцы семнадцатого года революция, сама жизнь подскажут Эйжену будущие темы и для философских раздумий, и для исторических обобщений, и (пожалуй, это самое главное) подскажут дорогу, с которой он никогда не свернет.

... Потом был Рыбинск.

И хотя между Псковом и Рыбинском пролегла не одна сотня километров, они выльются из его сознания короткими вспышками ощущений жары и холода, света и темноты. На этих длинно-коротких километрах прозвучат какие-то звуки — шипящие, стучащие, бьющие, которым он не будет знать назначения, и донесутся до него какие-то запахи — то ли увядающих листьев, то ли свежесмытых полов...

Сыпняк!

Сыпной тиф!

Кто и когда сосчитает его жертвы?

Первым понятным звуком внешнего мира для

Эйжена окажется мощный, словно бы зовущий в жизнь, крик парохода.

— Пароход!.. Пароход гудит, — тихо и счастливо скажет он соседу — худому парню с кустистыми бровями.

— Точно, пароход, — улыбнется парень, и, сильно окая, добавит: — Должно быть, «Боярин» пары пробует.

Потом, когда сыпняк выпустит Эйжена из своих лап, он будет часто приходить на снежный берег Волги и станет слушать перекликающиеся в затоне гудки. Свою первую встречу с Волгой он запомнит по этим перекликам стосковавшихся за зиму пароходов.

У него будет и вторая встреча с Волгой. Но случится она позже — к концу лета восемнадцатого года...

До этого Эйжен побывает в Москве и станет ждать отправки на фронт, под Казань. В то лето там проходил самый главный фронт, на котором, в сущности, решался жгучий вопрос: быть или не быть Советской власти!

Эйжен будет ходить по Москве, слушать и не слушать отклики теперь уже далекого детства. Нет, в Донской монастырь он не пойдет. Зато попробует навестить земляков, охраняющих Кремль. Его остановит властный хрип часового у Боровицких ворот:

— Куда! Пропуск!

Он так и не попадет на Казанский фронт... Тиф — на этот раз брюшной — прикует Эйжена к госпитальной койке. Он будет жадно следить за событиями — за мятежом левых эсеров, за происками иностранных дипломатов, за неудачами и удачами Казанского фронта... В те дни Эйжен испытает острое чувство неудовлетворенности собой. Ему покажется, что настоящая жизнь обходит его стороной, что он неудачник, обреченный на тоскливо-тускленькое существование.

С таким настроением он выйдет из московского госпиталя. Станет проситься на фронт. А его пошлют в Ярославль...

Я хочу сказать тебе о Волге, Эйжен.

Пользуюсь случаем, чтобы сказать то, что десятки раз говорил и говорю себе.

Хочу сказать о Волге...

На ней есть всякие места: шумные, тихие, лиричные, будничные, сказочные, ультрасовременные. Но нет мест скучных.

В верховьях Волги светит привычное для нас, полусеверян, солнце. В верховьях дуют те же знакомые ветры и знакомо шепчутся березы. В верховьях ели и сосны бросают на землю побуревшие иглы, так же как у нас, отсчитывая невозвратные мгновения жизни...

В верховьях Волги случаются закаты таких причудливых смещений красок, оттенки которых не в силах передать ни один импрессионист. Здесь, в верховьях, какая-то особая голубизна неба — бездонного и в то же время очень близкого. Здесь кружится голова от пьянящего аромата цветущих липовых рощ.

Здесь, в верховьях, река, как юная девушка, чиста и звонка.

Здесь, в верховьях, стоит Ярославль! Твой и мой Ярославль, Эйжен! Ты увидел его в жаркое революционное лето. Я — в мирные дни. Но мы увидели в нем то, что видит любой человек, не правда ли, Эйжен!

В драгоценном ожерелье древних городов Ярославль сияет ярким, немеркнущим светом. Неповторимый облик этого города создают прекрасные памятники прошлого. Над ними вихрями проносились войны, пылали пожары. Но вот уже почти тысячу лет Ярославль остается городом вдохновенного зодчества, городом с неповторимой стенописью храмов. Спасский монастырь, церкви Николы Надеина и Ильи Пророка, ансамбль Коровницкой слободы с его знаменитой церковью Иоанна Златоуста, церковь Николы Мокрого, наконец, необычная по архитектурному рисунку церковь Иоанна Предтечи — все они уже давно

потеряли не только свой религиозный смысл, но перешагнули границы города и вошли в сокровищницу мирового искусства.

В разные годы видели мы с тобой и Волгу. Разными глазами смотрели на нее. Но она одинаково заморозила нас. Заморозила ширью и гладью...

Согласись, Эйжен, Волга не только дарит людям ширь своей души, волшебство своего неба. Она и берет. Она возьмет у человека частичку сердца и подарит его другим людям. И никому не жаль этой потери. Нет!

Так вот, если мы решаем в самих себе, в детях и внуках своих воспитывать такие высокие человеческие чувства, как любовь к родной земле, к отечеству, к природе его и истории — то лучших «учителей», чем Волга, Даугава, Нева, Гауя, Иртыш, Лиелупе, не найти. Здесь жили наши отцы, деды, прадеды — десятки поколений людей. Их дела, мысли, чувства — наше богатство. Хранить, приумножать и возвеличивать его — не в этом ли цель жизни человеческой! Но не менее важно научиться ценить это богатство. А чтобы ценить — надо знать. Не для этого ли молодой Райнис спустился на плотках вниз по Даугаве, а Горький исколесил всю Россию?

Когда ходишь по удивительно чистым улицам Ярославля, невольно обращаешь мыслями в прошлое. Не только потому, что в городе множество интереснейших старинных зданий и улиц [одна Приволжская набережная чего стоит], но и потому, что Ярославль — это город, где в восемнадцатом году произошла одна из самых яростных схваток между революцией и контрреволюцией.

В этой схватке погиб Семен Нахимсон...

Было это в июле 1918 года. Точнее — 6-го июля. В тот самый день, когда в Москве подняли мятеж левые эсеры... Бандами правых эсеров в Ярославле руководил Борис Савинков.

Захватив город, мятежники начали расправу с большевиками. Начальник белогвардейской контрразведки допрашивает советских работников, схваченных в гостинице «Бристоль».

— А ты кто? — обращается офицер к одному из арестованных.

— Я — Нахимсон, — спокойно отвечает спрошенный.

— А-а-а!.. Нахимсон! Во двор его! Быстро! Твердым шагом Нахимсон выходит на середину двора. Понимает, сейчас — смерть.

— Расстреляйте меня, но вам не расстрелять и не убить дела, за которое я боролся и умираю!

— Пли! — командует офицер, и, пронзенный пулей, Нахимсон падает...

В то лето над землей продолжали свистеть пули.

Ярославль встретил Эйжена удивительной тишиной.

Пылали за городом вечерние зори. Совсем мирному гудели на Волге пароходы. Будто не помнили, что каких-нибудь две недели назад город гремел выстрелами. И только свежие цветы на холмиках красноармейских могил говорили о пережитой трагедии...

Как и в Пскове, Эйжен нес караульную службу. Патрулировал по улицам, вылавливал офицеры, еще пьяное от смертей, от крови.

Подробности гибели Семена Нахимсона Эйжен узнал в первые же часы после прибытия в Ярославль. И сразу вспомнил митинг стрелков в Валмиере, выразительные, чуть усталые глаза первого комиссара латышских стрелков... Подумал тогда: где, в каких тайниках памяти сохранить выражение этих глаз!

Годы спустя, когда Эйжен станет писать стихотворение о черных башнях Маутхаузена, память оживит эти глаза — добрые, впитавшие чужую и свою боль глаза борца.

Таковыми же вот точно глазами он и сам взглянет на проклятые башни лагеря смерти...

С острой отчетливостью он вспомнит тогда и тех, кто залил кровью улицы и площади Яро-

славля — Савинкова, Бриедиса и Гоппера, — и поставит их в один ряд с эсэсовцами, сталкивавшими людей в страшные пропасти Маутхаузена — «Мордхаузена». Будет это сопоставление стоять за строками стиха. И все-таки его прочтут люди...

Таково уж свойство настоящей поэзии — говорить не только строками.

Осенью восемнадцатого года Красная Армия предприняла широкое наступление на Западном фронте.

25 ноября был освобожден Псков...

28 ноября — Нарва...

30 ноября в Псков прибыли с Восточного фронта первые эшелоны латышской стрелковой дивизии. Началось стремительное продвижение к границам Латвии.

17 декабря, еще накануне вступления в город латышских стрелков, железнодорожные рабочие освободили Валку.

Валка, Валка! Снова ты стала на пути Эйжена Вевериса. Не в первый и не в последний раз...

Здесь, в Валке, Эйжен догнал своих. В туманной дымке памяти остались Ярославль и Волга...

Для Эйжена снова началась привычная походная жизнь. И оттого, что он снова был в своей дивизии, что она уверенно шла к Риге — домой! — настроение у Эйжена было (не в пример госпитальному) приподнятым и немного восторженным.

В каждом населенном пункте их встречали как освободителей. Толпа людей по обочинам дорог, красные флаги, слова, идущие от души...

Как мало походил этот переход через Видземе на тот — летний.

22 декабря вошли в Валмиеру...

23 декабря — в Цесис...

... Потом были бои у Инчукалнса. Немцы собрали здесь свои последние резервы и отбивались с яростью обреченных. Вместе со всеми Эйжен ходил в атаки на поросшие сосняком холмики.

Снова свистели пули...

Снова падали на мерзлую землю товарищи...

И хотя смерть по-прежнему маячила впереди, где захлебывался свинцом немецкий пулемет, Эйжен как бы не чувствовал ее холодного дыхания. Отчего это произошло? Эйжен не знал и не понимал. Позже, когда время слегка притушит яркие краски атак у Инчукалнса, он не раз задаст себе этот вопрос. Но так и не найдет ответа. Лишь много-много лет спустя на страшной «карусели» Саласпилса, поймет: смерть смерти рознь по тем мгновениям (часам, дням), которые человек переживает перед тем, как уйти в небытие. . .

Отбросив немцев от Инчукалнса, стрелки ожидали, что основные бои теперь пойдут на самых подступах к Риге, что там будет «вторая Югла». Но в Риге вспыхнуло вооруженное восстание рабочих, которые разгромили немецкие тыловые части и мелкие подразделения националистов. Еще до вступления в город красных латышских стрелков Рига стала советской.

Отступавшей в панике «Железной дивизии» немцев ничего не оставалось, как проскочить Ригу по железной дороге, с тем чтобы попытаться закрепиться на левом берегу Даугавы.

Вечером 3 января 1919 года красные латышские стрелки вступили в Ригу.

Вернулся в отчий дом и Эйжен Веверис.

Мать встретила его тихими слезами.

И не понять, чего в них было больше. . .

Светлой ли радости. . .

Или горькой печали.

Поседевшая, с осунувшимся лицом, она уже не пела своих песен.

— Ты не больна! — спросил ее Эйжен.

— Нет, сынок, со мной все в порядке, — ответила Елизавета и улыбнулась вымученной улыбкой. И от этой улыбки, скорее похожей на гримасу боли, у Эйжена словно бы что-то оборвалось в душе. Он хотел сказать матери утешительное и ласковое, но понял, что все слова тут бессильны.

Елизавета Веверис чувствовала, как ее Эйжен

все дальше и дальше уходил от нее, а она — мать — бессильна помочь себе и ему.

Взглянув на сына, отец молча обнял его и слегка прерывающимся голосом сказал:

— Ты стал настоящим солдатом, Эйжен!

— Красным латышским стрелком, отец, — уточнил сын.

— И все-таки солдатом. . .

Казалось, в маленькую квартиру на улице Цесу вернулся не только долгожданный сын, но мир и спокойствие. Казалось, что война навсегда ушла из семьи Веверисов. Казалось. . .

Как медленно человек привыкает к войне.

И как быстро отвыкает от нее.

Фронт только-только отодвинулся за недалекий горизонт, пули еще свистели на побережье Латвии, возле Лиепай, еще на севере республики шли бои с белоэстонцами (пала Валка!), а Эйжену показалось, что революция победила, что над его головой навсегда отсвистели пули. . .

Так думал не только он. Рига занялась мирным трудом, восстановлением заводов и фабрик. В короткий срок было покончено с безработицей, начались занятия в школах. . .

Отец целыми сутками пропадал на заводе. И очень радовался, что снова понадобились его руки — руки квалифицированного рабочего.

Специальным декретом был учрежден Государственный университет. И Эйжен стал одним из первых студентов. В связи с учебой его демобилизовали.

Словом, шла мирная жизнь.

А Рига, в сущности, оставалась прифронтовым городом. Этого не хотели замечать ее жители, слепо надеясь, что все обойдется и обернется к лучшему.

Это знало правительство и военное командование.

Когда в мае 1919 года Рига уже превратилась во фронтовой город, это поняли все.

Эйжен Веверис снова стал красным латышским

стрелком, правда, одетым не по форме — в штатское.

У матери уже не было слез...

Отец хотел верить, что Эйжен вернется. Хотел верить...

А Эйжен лежал на набережной Даугавы и стрелял.

В их группе было десятка два парней и девушек, добровольно державших оборону на набережной Даугавы.

В других группах было столько же...

Задача была предельно простой: хотя бы на несколько часов задержать переправу частей фон дер Гольца и тем самым дать возможность эвакуировать из Риги государственные учреждения, женщин и детей.

Эти группы были последним резервом, последним заслоном перед внезапным наступлением немцев. Основные части латышской дивизии бились с противником на севере и юге республики.

Последний резерв! Где-то далеко-далеко, за днями и годами, Эйжена будут ждать строки стихотворения, которое он так и назовет — «Последний резерв»...

Их было десятка два комсомольцев и комсомолок, оборонявшихся в наспех отрытых окопах у железнодорожного моста через Даугаву.

Было это 22 мая 1919 года.

Один пулемет...

Около тысячи патронов...

Двадцать винтовок — по одной на брата...

Эйжену Веверису — самому опытному из всех — поручили командовать этой группой.

Снова свистели пули...



С размеренностью метронома била и била по городу одинокая немецкая батарея. Била, словно отсчитывала время, оставшееся у Эйжена и его группы на жизнь и на смерть. Снаряды ложились вразнобой — то на узких улицах Старого города, то за железнодорожной насыпью, то в самой реке, взвинчивая в небо искрящиеся столбы воды...

Била и била артиллерия...

Свистели пули...

Свистели на том самом месте, где шестилетним мальчуганом Эйжен впервые услышал этот свист, поразивший ту — далекую теперь — девочку со смешно оттопыренной губкой...

Свистели пули...

Эйжен лежал за пулеметом и нажимал на гашетку всякий раз, когда на той стороне реки появлялись чуть различные фигурки солдат. «Второй номер» — хрупкая, с тонкими бровями и нежно-смуглым лицом девушка явно трусила. Трусила, но исправно подавала ленту в пулемет. В какую-то секунду Эйжен взглянул на ее руки — проворные, с тонкими пальцами руки ткачихи, привыкшие заправлять челнок. На безымянном пальце — простенькое оловянное колечко с красным камешком...

Била артиллерия...

Теперь к первой батарее присоединилась вторая, потом третья...

Снаряды разрывались совсем вблизи...

«Скоро они возьмут нас «в вилку» и тогда...» — Эйжен перебивал эту мысль короткой очередью.

Сколько времени прошло!

В какую из минут или часов этого боя был убит сначала один из парней, потом второй... третий...

Когда была убита тонкобровая девушка с пальцами ткачихи!.. Или пианистки!.. Может быть, она была не ткачихой, а пианисткой!

Перезаряжая пулемет, Эйжен вдруг увидел колечко на мертвом пальце. Он машинально снял его и сунул в карман: на память...

И строчил, строчил из пулемета.

Строчил...

Пока не кончились...

Пока не кончились патроны.

— Вот и все! — сказал он вслух и только теперь заметил, что они остались вчетвером.

Трое парней...

Одна девушка...

И ни одной обоймы!

— Ну, ребята, пора расходиться, — сказал Эйжен, вытирая грязной ладонью взмокший лоб. — Скоро немцы будут здесь. Идите домой! А я попробую догнать свой полк.

И они разошлись...

Трое парней...

Одна девушка.

Ни имен, ни фамилий...

Последний резерв!

Этот резерв не верил, что победит...

Но он верил в победу!

Но на этом день 22 мая не кончился.

Эйжен пробирался через Московский форштадт, надеясь выйти на Лубановскую дорогу и догнать отходящие колонны стрелков.

У водонапорной башни, на взгорке, Эйжен увидел трех стрелков, неторопливо копошившихся возле запряженной парой ладных коней двуколки.

— Эй, ребята, что вы там копаетесь! Фрицы уже перешли Даугаву.

— Плевать! — откликнулся один из стрелков. — У нас лошадки крепкие. Вынесут! Не оставлять же фрицам телефонный провод...

— Ты, парень, шел бы отсюда, — заметил второй, — а то еще наложишь в штаны, подтирай тут за тобой...

— Видел я таких подтирателей! — огрызнулся Эйжен. — По тылам у Пулеметной горки их много шлялось. Да на Малой Югле и возле Инчукална они мне попадались.

— Ого! Ты, видать, понюхал пороху! — подобрел первый стрелок.

— Час назад утопил свой пулемет в Даугаве...

Так состоялось их знакомство. Почему оно

сохранилось на одном из островков памяти Эйжена Вевериса! Уж, конечно, не из-за легкой перебранки, предшествовавшей всем дальнейшим событиям.

Здесь, у водокачки, Эйжен участвовал в последнем бою.

Последний бой...

Последний бой...

Короткий, как смерть...

И длинный, как жизнь.

Как и тогда, в бою на Малой Югле, в сознании Эйжена время снова поделилось на короткие обрывки. Через дни или недели они сольются в одну картину. Но тогда...

Тогда неторопливые стрелки сматывали и сматывали на катушки телефонные провода...

Стрекотали кузнечики...

Где-то вдали била и била немецкая батарея...

Била...

Била...

Не в силах заглушить стрекотание кузнечиков.

Эйжен перебрасывался словами со стрелками, которые дали ему винтовку и горсть патронов. Уже успели договориться, что если появится немецкий авангард, бить по офицеру, который наверняка будет скакать впереди. А без офицера — это любой стрелок знал — ихние кавалеристы в атаку не пойдут. Если же... В общем — отстреливаться до последнего...

Как там, у моста...

Била и била батарея...

Пели свою вечную песню кузнечики.

«Песнь песней», — подумал Эйжен.

Но эта мысль пронеслась мельком. А может, ее и вовсе не было! Наверное, она явилась потом, когда обрывки времени стали складываться воедино.

Вдруг к привычным уже звукам примешались новые...

Цоканье копыт...

Металл — о камень...

Камень о металл...

Пора!

... Они залегли в кустах, возле ограды водонапорной башни. Отсюда хорошо просматривался перекресток, где по их расчетам должна была появиться немецкая конница.

— Стрелять по моей команде, залпом. Целиться в офицера! — распорядился один из стрелков. — Заряжай!

Металлически защелкали затворы четырех винтовок.

Прошла еще минута нетерпеливого ожидания и...

И на перекресток выскочил офицер на сером в яблоках коне. За ним показалась первая шеренга.

Прогремел залп. Вздрыбился серый конь, а офицер, взмахнув руками, упал на мостовую. К нему тотчас подскакало несколько конников, спешась, низко пригибаясь, будто под шрапнелью, они быстро-быстро взвалили тело офицера на коня и торопливо покинули перекресток. (Позднее стало известно, что стрелки подстрелили барона фон Мантойфеля — командира ударного отряда «Железной дивизии».)

Этим залпом — залпом из обыкновенных трехлинеек на окраине Риги — для Эйжена кончится война. Та гражданская война, которая продлится три года и принесет победу революции.

Громяхая и трясясь, двуколка катилась по Лубановской дороге. Вот уже остались позади последние рижские домишки, и Эйжен с товарищами оказался в поле.

День клонился к вечеру. Эйжен лежал на дче повозки и думал, что к утру они, возможно, догонят арьергардные части дивизии. Тогда надо будет побеспокоиться об обмундировании, да и перекусить, откровенно говоря, не мешало бы...

Сунув руку в карман — не осталось ли хоть кусочка сухаря — Эйжен обнаружил гранату-«лимонку» и колечко с красным камешком. И все события дня мгновенно пронеслись перед ним...

Нестройная стрельба по немцам...

Смерть тоненькой девушки...

Разрывы снарядов в Даугаве...

Залп возле водокачки...

Сползающее с серого коня тело офицера.

Как попала в карман ручная граната — он не вспомнил.

Может быть, лежа на дне двуколки, Эйжен Веверис и догнал бы тогда латышских стрелков...

Может, пошел бы с ними по иссеченным огнем дорогам гражданской войны...

Может, ходил бы в атаки под Островом...

Или вместе со своим пятым Земгальским полком отбивал бы натиск Юденича на подступах к Петрограду...

Или бросался в штыковой бой под Кромами...

Может, громил бы банды батько Махно...

Или шел приступом на Перекоп...

Все могло бы быть!

Но не стало!

Тряслась по рытвинам армейская двуколка...

Погасал наполненный большими и трагичными событиями день — 22 мая 1919 года.

И вдруг раздался взрыв.

Тяжелый немецкий снаряд разорвался на дороге, по которой ехала повозка.

Последнее, что почувствовал Эйжен, прежде чем потерял сознание, был сильный удар во всем теле. На миг ему припомнилось, что он однажды уже пережил нечто схожее...

И тут на него хлынула ночь.

Нет, этот взрыв не оборвал жизнь Эйжена Вевериса. Он не превратил его и в калеку.

Просто тот немецкий снаряд подвел черту под одним этапом его первой жизни и тут же начал второй...

В туманном рассвете Эйжен пришел в себя. И увидел, что лежит в придорожной канаве, заросшей высокими, горько пахнущими сорняками.

Кругом — ни души. Ни своих, ни чужих!

В ушах комариным писком звенела струна.

Где-то он уже слышал этот звук!.. Потом до него донеслось тоненькое теньканье синицы...

Все повторялось!

Все повторяется в жизни!

Тогда, на Пулеметной горке...

И теперь...

Он еще не знал, что подобные «повторы» станут его вечными спутниками и что они говорят вовсе не об однообразии жизни, а как раз о противоположном — ее великом многообразии. Эйжен узнает об этом позже, когда прожитые годы и события обернутся к нему другой — поэтической — стороной.

Он встал...

И, покачиваясь на нетвердых ногах, побрел к городу...

Пока Эйжен брел по окраине Риги, по многочисленным садикам и огородам, где цвела весна — с пьянящим запахом трав, белой кипенью вишен и птичьим гомоном, — силы вернулись к нему.

Первых немцев он увидел на улице Перनावас.

Три остроконечных каски, а рядом — три блестящих штыка...

Эйжен свернул в ближайшую подворотню, чутко вслушивался в приближающиеся шаги патруля. В утренней тишине шаги эти звучали громко и властно. Почему-то именно в эти короткие минуты, стоя за воротами чужого двора, Эйжен впервые отчетливо осознал, что его Рига — единственная и неповторимая — оказалась в руках немцев, а он — красный латышский стрелок — фактически попал в плен.

И тут он вспомнил о гранате-«лимонке». Сунул руку в карман — есть!

А шаги патруля все ближе и ближе... Сейчас немцы пройдут мимо. Тогда — быстро выскочить из ворот и швырнуть гранату — вдогонку...

Сжав в кулаке гранату, Эйжен теснее прижался к воротам. Идут! Совсем рядом! Пусть пройдут, тогда вырву чеку и...

— Не дури, парень! — слышался позади негромкий голос. — Не дури, тебе говорят. . .

Эйжен обернулся. Со стороны двора к нему приближался невысокий, с бородкой клинышком мужчина. В руке он держал небольшой черный сундучок, в каких мастеровые-железнодорожники обычно носили инструмент и еду.

— Ну, прихлопнешь ты этих фрицев, — говорил мужчина спокойно, — а дальше что!

Эйжен молчал.

— От такой войны, из-под ворот, проку мало. Спрячь-ка ты свою штуковину.

— Так ведь они нашу Ригу! . . Сапожищами. . .

— А я, думаешь, не вижу? У меня что, вместо сердца — маховик! — мужчина повысил голос. — Раньше надо было думать.

— Так ведь я. . .

— Вижу, все вижу. От тебя за версту порохом несет. Да и морда у тебя. . . Ты хоть в зеркальце гляделся! То-то же! Пойдем! — Мужчина схватил Эйжена за руку. — Пойдем, пойдем! Умоешься, одумаешься.

И он вдруг рассмеялся громким, заливистым смехом.

«Как дядя Герман», — подумал Эйжен.

— Никуда я не пойду. Мне до дома рукой подать. Там и умоюсь.

Незнакомец испытующе взглянул на Эйжена:

— Влипнешь ты в историю, парень. — Он быстро раскрыл сундучок и протянул Эйжену горсть ветоши. — На, хоть утрись! Не то первый же ихний патруль тебя сцапает.

Спрятав «лимонку» в карман, Эйжен старательно вытер лицо.

— Спасибо! Я пойду.

— Валяй! Только не дури. Прибереги силы-то. Они еще пригодятся, парень.

И когда Эйжен уже выходил из ворот, незнакомец вдогонку спросил:

— Сколько тебе лет, парень?

— Скоро двадцать! — Эйжен на секунду задумался. — А что!

— Это я просто так. Счастливо...

... До своей улицы Эйжен добрался благополучно. Но у самого дома его остановил немецкий патруль — два солдата и ефрейтор.

— Документы! — потребовал ефрейтор, протянув к Эйжену здоровенную лапищу.

— Нет у меня документов. Там они, — Эйжен показал на свой дом, — в квартире. Гимназический билет и все прочее.

— Ты гимназист! — удивился немец. — Не рассказывай сказки.

— Но это совершеннейшая правда. Я действительно гимназист, а в этом доме живут мои...

— Хватит брехать! — разозлился ефрейтор. — Гимназисты сидят дома и сосут мамкины титьки. — Солдаты за спиной Эйжена заржали. — А ты шпион и большевик...

— Нет, уверяю вас! Давайте поднимемся наверх, — говорил Эйжен, а сам все время думал: «Граната! Если они найдут гранату! Лишь бы не обыскивали!».

— Сейчас мы тебя поднимем! — ефрейтор расхохотался. — Высоко поднимем. К самому господу богу. Берите его!

Две сильные руки подхватили Эйжена и поставили перед невысоким забором. Прямо перед ним находился его дом. Эйжен видел занавески на окнах их квартиры. И в ту минуту, когда солдаты нацелили на него винтовки, больше всего испугался, что выстрелы услышит мать и... Нет, только не это! Надо что-то придумать. Скорее, скорее! О смерти, которая глядела на него сейчас двумя бездонными глазами, он не думал. Только не здесь! Только не на родном пороге!

— Послушайте! Отведите меня за угол. Какая вам разница! А то увидит мать, понимаете!

— Фридрих, — обратился к ефрейтору один из солдат. — Может, у него действительно...

— К черту! К черту, я вам говорю! Кончайте с этим большевиком. И пошли завтракать. Я хочу сладкого кофе...

Все последующие годы Эйжен будет помнить

эти слова: «süssen Kaffee» Все годы ему будет казаться, что именно они спасли его тогда от неминуемой смерти. Потому что после упоминания о сладком кофе ефрейтор вдруг пустился в пространные рассуждения о том, что немецкая душа (он сказал: «истинно немецкая душа») требует хорошенького глотка крепкого кофе по утрам.

Рассуждения эти растянули время. Когда же ефрейтор спохватился, что арестованный большевик все еще жив и вознамерился подать новую команду к расстрелу, было уже поздно...

Из-за угла появился конный немецкий патруль во главе с офицером. Пока ефрейтор рапортовал начальству о происходящем, Эйжен успел узнать в офицере однокашника по гимназии барона Эгона Вольфа.

— Эгон! Прикажи этим хамам отпустить меня! — крикнул Эйжен.

Вместо ответа барон снисходительно махнул рукой в белой лайковой перчатке и пришпорил коня.

— Марш домой! — неожиданно визгливым голосом заорал ефрейтор. — Марш!..

В тот майский день девятнадцатого года белые лайковые перчатки отвели от Эйжена смерть. Отвели величественно-небрежным жестом. Через двадцать с небольшим лет такие же перчатки, натянутые на другие руки, захотят превратить Эйжена в недочеловека.

Дверь открыла мать.

— Эйжен! Это ты, Эйжен! — она словно бы выдохнула из себя эти вопросы, пристально вглядываясь в лицо сына. — Неужели это ты!

— Конечно я, мама. Ты не узнаешь меня! Зажги свет!

— Нет! Нет! Ты сам... Сам зажги! — мать отшатнулась от сына, и в темноте передней Эйжен смутно различал ее лицо.

Он повернул выключатель...

И лицом к лицу столкнулся с незнакомым человеком, глядевшим на него из зеркала.

Было у того человека изможденно-морщинистое лицо с темными полукружиями возле глаз. А на давно не стриженных висках матово блестела изморозь.

— Ну вот, мама, я и вернулся, — глухо произнес Эйжен и выложил на призеркальную полочку граненую «лимонку». Пошарил в карманах и рядом с гранатой положил оловянное колечко с красным камешком. — Вернулся! . .

Да, вернулся!

Но Эйжен еще не знал, что, вернувшись, он все же оставался там. . .

Остался на войне. . .

В революции!

Стояло теплое утро 23 мая 1919 года.

АВТОР — ЭЙЖЕНУ ВЕВЕРИСУ

Знаешь, Эйжен, иногда я ловлю себя на такой мысли: как все-таки стремительно бежит время, если то, что произошло четыре-пять десятилетий назад, кажется нам теперь далекой историей. Наверно, это закономерно, что девиз первой пятилетки — «Время, вперед!» стал знаменем и сегодняшних, семидесятых годов. И мчится, мчится время, подхлестываемое событиями и людьми.

Ушли в историю недавние годы и десятилетия. Ушли необратимо. Мы возвращаем их своей памятью, документами газетных полос и журнальных страниц, документами архивов, станками, самолетами, теплоходами, вещами, песнями, стихами и книгами — всем тем, что составляет суть жизни человеческой. Мы оглядываемся на прожитые годы и зачастую видим только вершины — вершины, которые были взяты людьми и которые вошли в историю. Но вершины — итог развития. Начинают же развитие земные явления, труд людской, их поступки, события человеческой

жизни. И когда мы о них забываем, то словно сплещем и не понимаем развития.

Сейчас я остановился не затем, чтобы еще и еще раз оглянуться на прожитые тобой годы, Эйжен, и рассказать не сказанное, и не затем, чтобы перевести дыхание. Сомнения... Они продолжают мучить меня и сейчас, точно такие, как мучили на первой странице. Так ли пишу! Не исчезает ли за мелкими подробностями ширь твоей жизни, Эйжен! А может, наоборот — обобщения скрывают человека!

Скажи, Эйжен!

Скажи, что было впереди! Каким ты был, Эйжен, в те двадцатые годы, когда вернулся домой не только поседевшим в двадцать лет, но и состарившимся сразу на многие годы вперед. Был ли ты песчинкой «потерянного поколения», сломленным войной деревцем? Или ты сохранил в душе тот великий и немеркнущий свет, который несли в себе красные латышские стрелки! Может, затухли в тебе идеи, которые люди утверждали кровью своей! Может, ты забыл о цене справедливости, требующей жертв!

Скажи, Эйжен!

Скажи, что написать мне на последующих белых листках!..

Может быть, рассказать, как в те годы до твоей квартиры, где медленно умирала мать, доносилось эхо выстрелов, обрывавших незнакомые жизни! Вспомни, Эйжен, как в августе двадцатого года была расстреляна работница Удре — расстреляна без суда и следствия. Вместе с ней погибла 14-летняя девочка, имя которой так и не удалось узнать. Через месяц были «негласно» убиты Кристина и Эмма Заринь, Берта Аузинь, Артур Калынь...

Снова свистели пули!..

В ночь с 10 на 11 июня двадцать первого года в Риге у Центральной тюрьмы расстреляли девять коммунистов. Среди них были Янис Шилф-Яунзем и Август Берце-Арайс... Ты, Эйжен, не спал в ту ночь! Не мог спать!

В августе двадцать второго казнили Мартина Чуче. Он был только на три года старше тебя, Эйжен...

Снова свистели над миром пули...

Снова оборвалась чья-то жизнь...

Недопетые песни...

Сколько ты стоишь, человек!

Сколько стоят...

... Четырнадцатилетние дети!

... Берта Аузинь!

... Шилф-Яунзем!

... Берце-Арайс!

... Мартин Чуче!

В те годы, Эйжен, ты не смог ответить на эти вопросы. Ответ придет к тебе позже, когда и эти смерти, и все последующие уйдут в историю.

В день, когда писались эти страницы, ты, Эйжен, прочел мне новое стихотворение, которое начинается так:

Нужна тишина нам,
Чтобы думать о павших...

Сейчас тебе уже за семьдесят. Вспомни, Эйжен, много ли тишины было в твоей жизни? Вспомни, вспомни! Сложи эти редкие мгновенья тишины. Сколько получится! И разве только в тишине ты думал о павших? Разве не нарушал ее звона стук твоего сердца, Эйжен!

Но вернемся к тем дням начала двадцатых годов. Что еще примечательного было в них? Безработица! Должен ли я рассказывать, как ты, Эйжен, часами простаивал у дверей редакций газет, чтобы дожидаться долгожданного: «Требуется...» Очень, очень редким было это слово в разделе газетных объявлений. Гораздо чаще встречались: «Ищу!..», «Нуждаюсь!..», «Предлагаю!..».

В те годы ты был одновременно и студентом и безработным. Странное для наших дней сочетание. Сочетание утверждения и отрицания. Но тогда подобные парадоксы были типичными:

слесарь одновременно был неслесарем, машинист был немашинистом, а бухгалтер — небухгалтером. Частичкой «не» общество словно клеймило безработного.

Ты был студентом учительского института. По утрам слушал лекции, а вечерами и ночами — добывал хлеб насущный. «Хлеб наш насущный даждь нам днесь» — формула наивной молитвы обратилась в неистовый вопль голодного. Вопль, который звучал отнюдь не мольбой. Те толпы людей, с которыми ты, Эйжен, ходил по улицам Риги, не молили, нет! Они требовали! Требовали: «Работы! Хлеба!». Ты всегда будешь помнить эти демонстрации, над которыми развивались алые рабочие стяги. Всегда! Даже там, в Штутгофе, где «пайка» эрзац-хлеба часто олицетворяла собой жизнь! В хлебе никогда нет запаха смерти, ты заметил, Эйжен! Только — жизнь! Но ты не вымалывал эту жизнь в Штутгофе, потому что научился требовать ее в Риге.

Хлеба!

Работы!

Оказывается, и слова способны потрясать мир.

Хлеба!

Работы!

Серенькие будни голодного прозябания, затерявшиеся в памяти! Нет! Ты их не забудешь, потому что в них — в этих буднях — звучали требовательные слова, в них была борьба.

Рассказывать ли мне, как по ночам ты разгружал пульты с углем? Или мыл окна в особняках!

Скажи, Эйжен!

Может, начать мне новый белый лист с описания твоих «концертов» перед зрителями захудалых кинотеатриков! Конечно, ты помнишь, как пел там романсы Александра Вертинского, старательно грассируя, бросая в тусклый зал жесты и мимику популярного певца. Жизнь обкатывала тебя со всех сторон, как река обкатывает донные камешки. Но ты остался острым и шершавым, потому что продолжал слышать свист пуль...

Да, тогда ты пел «Желтого ангела» и «Марлен» и «Лилового негра». Ты изводил бумагу, сочиняя (скорее, подражая тому же Вертинскому, не правда ли?) строчки, которые так и не стали стихами. И хорошо, что не стали! Потому что твои главные стихи, как и главные пули, будут ждать тебя впереди. . .

Но те — главные стихи — уже рождались в тебе. Рождались в упоительные мгновения, когда твои губы беззвучно шептали строки из Райниса, из Лермонтова, Гёте и Гейне, Байрона и Пушкина. Ты ведь хорошо понимал, что нельзя стать поэтом, не впитав в себя соки великого древа поэзии. В твои горчайшие дни, в дни испытаний на право называться человеком, тебе на помощь придут народные песни — наивно-простенькие для людей неглубоких и такие многогранно-бездонные для тех, кто умеет ценить и оберегать прекрасное — ум народа и его совесть.

Пройдут годы, пока ты напишешь свое первое настоящее стихотворение. И не случайно оно будет посвящено народным песням. Родится то стихотворение в больничном блоке Маутхаузена. . .

Там же, в Маутхаузене, ты станешь читать наизусть Райниса. И твоим слушателем будет Рауль — партизан из Нима. Он ни слова не поймет, но почувствует Райниса.

Райнис! Райнис!

Он зажжет в твоей груди искру, которую ты пронесешь через ночь. И от искры той вспыхнет пламя. . .

4

Случай! . .

Просто случай!

А может быть, фатум?

Рок! . .

Судьба!

Эйжен так никогда и не поймет исходную причину происшедшего. Да и всегда ли нам надо

докапываться до сути чего-то, если в основе лежит чувство!

Итак, просто случай...

Случай в один из весенних дней 1923 года.

У Эйжена лежал в кармане диплом об окончании учительского института. Но что означал диплом в обществе, где учитель одновременно был и неучителем!

Вот уже который день Эйжен разъезжал по рижским школам и предлагал свой диплом в обмен на крохотную кучку латов и сантимов и получал неизменное: «Нет!».

Для него — молодого учителя — не находилось работы в мире, где росли дети и где они задавали свои бесчисленно-вечные «почему?».

Но в тот день у него было приподнятое настроение. В одной из окраинных школ ему пообещали... Только пообещали, что если... А Эйжен уже верил, что этого «если» не будет...

На площадке трамвая было немного народу, и когда на одной из остановок в трамвай вошла женщина, Эйжену показалось, что где-то и когда-то он уже видел ее. Видел это немолодое лицо, с мелкими морщинами в уголках чувственного рта.

Расплачиваясь с кассиром, женщина сделала неловкое движение, и из ее ридикюля посыпалась разная мелочь. Эйжен подобрал оброненное и вернул вещи владелице.

— Спасибо! — женщина одарила его благодарно-кокетливым взглядом.

«Где я видел это лицо!» — мучительно вспоминал Эйжен. Но так и не вспомнил. Разговор, начавшийся в трамвае, продолжался и на улице, когда они вместе вышли. Эйжен взял из ее рук увесистый пакет книг. Шли медленно к ее дому. Разговор был о книгах. Знакомых и незнакомых, любимых и нелюбимых.

— Знаете что! — женщина оживилась. — Зайдемте к нам домой! Мы с мужем имеем некоторое, — она лукаво подчеркнула последнее слово, — отношение к литературе...

И Эйжен вспомнил! Узнал в этой немолодой

женщине поэтессе Аспазию — супругу великого Райниса.

В первый миг встречи Райнис показался Эйжену сильно уставшим. Уставшим и словно бы растерянным. А может быть, озабоченным! Нет, скорее тревожным! Такой знакомый и близкий по портретам, он в яви был и проще и сложнее.

Это был Райнис!

Могучий, как Лачплесис! . .

И слабый в своей житейской беззащитности.

Потому что нет более беззащитных людей, чем окрыленные поэты.

Через шесть лет, когда Эйжен узнает о смерти Райниса, он вспомнит эту короткую встречу и подумает. . .

Подумает, что Райнис, как и все великие поэты, философы, гении всех времен и народов, яростно клеймил насилие и зло, звал людей к солнцу. Но разве от этого убавилось на земле зла и насилия!

А еще через тринадцать лет, когда в ушах Эйжена будут греметь и греметь выстрелы Иршупарка под Валмиерой, он задаст себе страшный в своей безысходной трагичности вопрос:

Разве от того, что на земле жил Райнис. . .

Разве от того перестали на ней быть гитлеры!

Но тогда, в тот весенний денек двадцать третьего года, Эйжен видел перед собой Райниса. . .

Седого. . .

С высоким и светлым лбом мыслителя.

Эйжена поразили его глаза. И час спустя после встречи и через множество лет он будет помнить излучавшие свет глаза Райниса. Свет этот показался Эйжену предзакатным, словно бы окрашенным в пастельно-лиловые тона.

Никогда в жизни Эйжен больше не увидит таких, победивших боль, глаз! Глаз Райниса!

Райнис расспрашивал Эйжена о жизни, слушал его стихи.

В те минуты Эйжен еще не осознавал, какой серьезный экзамен он держал. Он читал стихи, впоследствии побежденные временем, а Райнис

слушал... Слушал внимательно, подбадривающе кивал головой.

Кончив читать, Эйжен выжидательно застыл. Наступила томительная пауза.

Райнис прошелся по комнате и, обратившись к жене, с легким смешком сказал:

— Традиция все еще жива — наши молодые учителя продолжают писать стихи. — Повернувшись к Эйжену, продолжал: — Стихи у вас получаются, молодой человек. Рад, что вы мыслите большими категориями, не размениваетесь на мелочи... Именно так и пишите — крупными мазками. — Он помедлил, собираясь с мыслями. — Но должен вас огорчить: мысли и чувства у вас пока не сливаются, не сплавляются воедино. Понимаете? — Для убедительности Райнис протянул Эйжену левую ладонь. — Вот здесь у вас большая мысль, а здесь, — он показал правую ладонь, — здесь острое чувство. Соедините их вместе. Только не спрашивайте, как это сделать. Я и сам не знаю. Да и никто, наверное, не знает...

Он подошел к окну, тихо побарабанил пальцами по стеклу. Затем резко обернулся к Эйжену:

— Ответьте мне на один вопрос. Только откровенно.

— Пожалуйста.

— Почему вы непременно решили остаться работать в Риге?

Эйжен замаялся. Он никогда не думал, что сможет найти работу где-то вне Риги. Прямо так и ответил Райнису, добавив, что живет с отцом и...

— Я понял вас, молодой человек, — перебил его Райнис. — Мой вам совет: уезжайте из Риги! Уезжайте в самый дальний уголок Латвии! Там вас ждет настоящее дело. Там вы будете нужны детям. Вы молоды, энергичны, полны сил. Так примените эти силы к чему-нибудь стоящему! А здесь, — Райнис вяло махнул рукой, — здесь вы погрязнете в будничных, мелких делах. Превратитесь в чиновника от просвещения. Уезжайте, уезжайте, молодой человек! Желаю вам всего самого доброго!...

Эйжен поклонился, пожал протянутую ему руку и направился к двери.

— А стихи не бросайте! — догнал его голос Райниса. — Непременно пишите! — и, сжав обе ладони над головой, улыбнулся. — Пишите вот так...

Такой была эта встреча...

Короткой по времени и длительной по своим последствиям.

Встреча эта круто повернула жизнь Эйжена Вевериса. Повернула ее не только с внешней, видимой, стороны, но и подняла в нем ранее неизвестные ему самому пласты мыслей и чувств.

Разумеется, это произойдет не сразу. Годы и годы уйдут на то, чтобы глубже разобраться в себе самом, в жизни — прожитой и не прожитой... В людях — таких однозначных в солнечные дни и таких разных в дни ураганные.

Пройдут годы, но Эйжен всегда будет мыслить крупно. Никогда — и это будет его великим счастьем — он не даст озверевшему времени бросить его в тряское болото мелких самоощущений и самолюбования. Стихи его, свободные от трагичных комплексов, будут говорить о самом главном — о жизни во имя жизни. И в потертом пиджачке сельского учителя, и в полосатой куртке узника смерти он останется самим собой — одетым в невзрачную шинель красным латышским стрелком.

Сплетенные воедино ладони Райниса!

Как рукопожатие!

Рукопожатие на всю жизнь!...

Уже на следующий день после встречи с Райнисом Эйжен заберет документы из школы, где ему обещали, что если...

Никаких «если»!

Сейчас же, немедленно он поедет туда, где его ждут, где он будет нужен!

Отец выдал ему малую толику денег на дорогу...

И в путь!

Он готов был обойти пешком всю Латвию, чтобы выполнить завет Райниса.

В двадцать четыре года все препятствия кажутся легкими, а все дороги — короткими. Ему ли привыкать к проселкам, если позади — дороги войны!

И Эйжен сполна измерил эти проселки. Пыльные, вязкие, с лужами, в которых светилось небо. И с небом, отражавшим две колеи от крестьянских телег. Уже не к самому ли небу вели эти колеи!..

Где он только не перебивал в то лето! Под Салдусом и Мадоной, в Крустпилсе и Ауце, возле Гулбене и Кандавы... Эйжен снова ходил по знакомым до боли холмам Видземе, и ему казалось, что из-под его ног сочится кровь убитых товарищей, а в ушах слышится свист пуль. Пуль, которые когда-то пролетели мимо него.

Да, он, в сущности, снова был в атаке, в атаке на безжалостный мир, отбивавшийся от него холодом и равнодушием сытых.

Райнис! Великий Райнис ошибся! Никому не нужен был учитель Эйжен Веверис...

Время покажет, что атака Эйжена на мир зла и тьмы продлится не два, не три года (хотя тем же летом он и получит работу), а закончится только...

Закончится вместе с его первой жизнью, чтобы тут же начаться в жизни второй. Но будет это восемнадцать лет спустя...

Не потому ли, что обстоятельства жизни сделали Эйжена сильнее, чем он был на самом деле, — не потому ли он все-таки получил работу? А может быть, слепой случай привел его на заседание Слокской волостной управы, где в тот день избирали учителя для маленькой школы в рыбацком поселке Лапмежциемс.

Эйжен станет думать, что Райнис обладал даром предвидения...

И от этой мысли ему станет легче жить. На многие годы вперед — легче.

Лапмежциемс...

Песчаные дюны, утыканные тонкими стволами сосен.

Сосны вечно смотрят в море, селятся разглядеть в нем что-то. И постоянно кланяются ему лохматыми верхушками.

Целых семь лет эти сосны будут напоминать Эйжену Райниса. Особенно в вечерние предзакатные часы, когда их кроны станут испускать легкий лиловатый свет.

Райнисовские «Сломанные сосны»? Да, взрывная сила этого стиха будет жить в Эйжене. Но он добавит к ней свое ощущение мира, свою боль и свою радость. От этого Лапмежциемс — невидимая точка на земном шаре — с годами засияет поэзией воспоминаний, жгучих, как солнечный луч на берегу моря, и горьких, как выброшенные на прибрежный песок водоросли.

Лапмежциемс...

Сосны...

Черные силуэты лодок на желтом песке...

Домишки рыбаков...

И запах рыбы.

Запах был повсюду. Даже небо Лапмежциемса, казалось Эйжену, пропахло рыбой.

Этот запах приносили с собой в школу и дети — сыновья и дочери рыбаков.

Школа размещалась в бывшей корчме. Ссутулившись черепичной крышей, она глядела на рыбацкий поселок бессильно-старческими глазами, в которых Эйжен видел и недавние здешние бои — с пожарами, взрывами, предсмертными хрипами солдат — и возрождающуюся жизнь, с ее ребячьим гомоном, с ее песнями и улыбками рыбаков.

Старая корчма, ставшая школой... Через ее двери в жизнь Эйжена войдут люди, в суровых характерах своих схожие со стрелками красных латышских полков. И рыбаки, и стрелки ходили по свету крупными шагами, мерили мир крупными мерами, солили хлеб крупной солью...

Они и гибли одинаково — не оставляя за собой могильных холмиков...

«Наверное, — подумает когда-нибудь Эйжен, — мне очень повезло в жизни, если я начинаю жить с такими людьми...»

Но ему повезло и в другом — он жил среди детей, жил с детьми.

Жил для детей!

И там, в Лапмежциемсе, и в тех школах, где ему доведется работать впоследствии, он читал в доверчивых глазах мальчиков и девочек то, что удавалось прочитать далеко не каждому учителю: жажду жизни и радость жизни. И это — в поселке, где труд взрослых был тяжким («от бога!») проклятием, где хлеб замешивался на горько-соленой морской воде и солено-горьких женских слезах.

За время странствий по Латвии — и в войну и после войны — Эйжен понавиделся всякого. Но такой ужасающей бедности, такой нищеты, как в Лапмежциемсе, он еще не встречал. Мало того, что на километры вокруг поселка, казалось, еще дымились и дымились пепелища военных лет, а люди жили (нет, не жили!) в наспех отрытых землянках-пещерах, они еще и голодали. Голодали потому, что не могли приобрести снасти и лодки для ловли рыбы.

Временами Эйжену казалось, что нет выхода из этой безысходности, что жители поселка в своем вечном коловращении вокруг моря и рыбы, вокруг куска хлеба потеряли не только прошлое и настоящее, но и будущее. Он видел, как сиюминутные заботы о похлебке, о ботинках для мальчиков и платьицах для девочек убивали в рыбаках и рыбачках молодость. А люди с убитой молодостью — это люди с убитым будущим.

И Эйжену становилось страшно... Неужели, думал он тогда, мы потеряли теперь все, что приобрели в девятнадцатом году, то, что нам удалось ценой крови у Малой Юглы и у Инчукалнса! Неужели и я теряю свое прошлое?

Потерять прошлое!..

Потерять или...

Или раствориться в прошлом!

Он боялся и того и другого.
И потому прирастал к детям.
К детям Лапмежциемса.

Они были очень разными, эти ребятишки. И Эйжен по-разному относился к ним: кого-то уважал или не уважал, кого-то любил, кого-то жалел. Но таких ребят, к которым бы был равнодушен, — не было. В сгустке его разнообразных чувств и отношений к детям у Эйжена никогда не будет равнодушия.

Это его главное свойство как учителя родилось в Лапмежциемсе.

Это свойство своего характера Эйжен пронесет и через обе жизни.

Пронесет не только в отношении к детям...

Он и в поэзии — той, что жила в его прошлом, настоящем и будущем — и в ней он не останется равнодушным.

Дети рождали в Эйжене страстность, порыв, мечту. Он поймет это позже, когда гроззовые раскаты второй мировой войны начнут заглушать ребячьи голоса. Те детские голоса, которые всегда звучали и в нем самом и без которых он не был бы учителем и не стал бы поэтом.

Дети очень скоро поняли, что каждый день к ним в класс приходит не просто «господин учитель» — хороший и добрый человек, — а что он, подобно сказочному Спридитису*, приносит им радость открытия мира, забирая взамен непосредственность их чувств. И им было не жаль этой потери, нет!

Эйжен стал не только учителем, но и учеником.

Он научился разговаривать с детьми. Научился не только потому, что сообщал им что-то новое, и не потому, что не твердил прописных истин. Просто он каким-то чудом всегда очень точно угадывал, что за человек был перед ним. Будь то вихрастый веснушчатый мальчуган — гроза улицы — или застенчивая девчушка с льняной головкой — Эйжен мгновенно перерождался в того

* Спридитис — мальчик-с-пальчик.



мальчика или девочку и болел их болью, смеялся их смехом, стыдился их стыдом, дышал их дыханием.

Коллеги-учителя пытались докопаться до истоков этого умения перерождаться... Эйжен отмалчивался. Как объяснить необъяснимое! Ведь даже великий Райнис не мог сказать, как рождается поэзия...

Там, в Лапмежциемсе...

Это чувство перерождения, отрешенности от самого себя, приносящее неизмеримую сладость при общении с детьми, принесет ему с годами и величайшую горечь и...

И обернется муками второй его жизни.

Муки эти выльются в стихи о мертвых и живых, идущих рядом с нами, живущих в нас.

Там, в Лапмежциемсе...

Там жизнь была заполнена простыми и ясными делами...

Уроки...

Тетрадки...

Спевки хора...

Редкие поездки в Ригу: к отцу, в театры...

Там плескалось море, а в море плескались дети. Эйжен навсегда запомнит голенькие их фигурки в искрящихся брызгах моря.

Эти голыши будут для него своеобразным символом Лапмежциемса — символом его настоящего и будущего.

И когда много-много лет спустя Эйжен окажется в том рыбацком поселке, он снова увидит, как плещется море...

А в море снова будут плескаться голыши-мальчики и голыши-девочки...

Внучата и внуки его далеких лет!

АВТОР — ЭЙЖЕНУ ВЕВЕРИСУ

Где твои стихи, Эйжен!

Стихи тех далеких лет.

Понимаю, что причиняю тебе боль этим вопросом. Но все-таки задаю его.

И тебе! И себе!
На войне гибнут не только поэты...
Сбывшиеся и несбывшиеся.
На войне гибнут стихи! Живые строчки стано-
вятся пеплом.

Вместе со стихами уходит в ничто и время.
Время, когда стихи были написаны...
Время ненаписанных стихов!
Война ко всем своим злодеяниям добавляет и
еще одно злодейство...

Она убивает время!
Кто вернет это время — время наших самых
молодых или самых зрелых лет — поколениям
людей!

Кто вернет время поэтам...
Когда они писали стихи!
Кто вернет это убитое войной время!
У меня был товарищ — Виктор Лукс, сын
известного революционера Карла Лукса. В сорок
пятом он погиб в Курземе, под Блидене. Погиб у
перелеска, где журчали первые весенние ручьи —
вестники нашей победы...

Его мать — Анна Лукс — в те дни едва не
лишилась рассудка.

С годами она, как все матери, осилила голос
горя, но не примирилась с потерей единственного
сына. И знаешь, что она никогда не простила
фашизму!

Внуков!
Внучек!
Она хранила щепотку земли с могилы, где
лежал сын. Где ее внуки и правнуки лежат...

А ты, Эйжен, простил ли ты гестаповцам стихи,
которые они унесли на подошвах своих сапог?
Стихи, написанные и ненаписанные...

Стихи Лапмежциемса!..
Мне почему-то кажется, что они были улыбчи-
выми и светлыми. Не так ли, Эйжен! А еще —
нежными! Потому, что поэзия — это всегда неж-
ность. Даже в строчках, излучающих радиацию
боли, — она нежна. Иначе — зачем быть стихам!
Стихи Лапмежциемса!..

Убитые войной — от них не осталось ни буквы — они все-таки будут иметь и сыновей, и дочерей, и внуков, и правнуков...

Тебе повезло, Эйжен!

Но в Лапмежциемсе рождались не только стихи. Там рождались и дети. И их не заберет война. Хотя не раз ты будешь спрашивать себя: было ли на земле хоть когда-нибудь время, «удобное» для рождения детей!

И Гунар, и Дайла родились в тяжелое время. Но если вдуматься, то и Ольгерт, и Лаума, и Вилнис, родившиеся несколькими годами позже, увидели отнюдь не безоблачное небо. Верно, Эйжен!

Тогда вы с Альмой не думали об этом. Тогда вы любили друг друга, и у вас рождались дети. Все шло как и должно было идти в жизни. В своей любви вы были не первооткрывателями чувств. Но для себя вы их открывали заново.

Так и должно было быть!

Иначе — зачем любовь!

Остался позади Лапмежциемс. Остался с его морем и детьми. С его стихами...

Там родились твои старшие ребята.

Но, в сущности, там родился и учитель Эйжен Веверис. И не просто учитель, а «красный учитель». Определение «красный» не значилось ни в каких официальных формулярах. Его тебе дали рыбаки. Дали за беспокойство твоей натуры — беспокойство не о себе, не о своих ближних, а о них — знакомых и незнакомых жителях поселка. В их глазах ты был красным потому, что всегда и везде говорил правду и противопоставлял ее скрытой или откровенной лжи «демократического самоуправления».

Приходили и уходили президенты Латвии — «демократы двадцатых и тридцатых годов» — всякие чаксте, земгалсы, квиесисы — произносили громкие речи о благе народа, устраивали пышные празднества «во имя народа и демократии»... У каждого из них была своя ложь, но каждый из них называл эту ложь правдой. И каждая в

отдельности и все они вместе проливались на белый свет кровью народной.

Потом пришел Карл Ульманис. «Каждому — свое!» — сказал он, будто предвидя, что эта формула вскоре появится на воротах фашистских концентрационных лагерей. «Я и мое правительство! Я и мой народ!» — с циничным пафосом кулацкого вождя он открыл то, что пытались скрыть за интеллигентскими улыбочками его предшественники.

Ты помнишь это время, Эйжен? Помнишь бездорожье тех лет! В минуты тоски и грусти это бездорожье двух десятилетий будет казаться тебе бездорожеством всего XX века.

Красный латышский стрелок стал «красным учителем». Иначе ведь не могло и быть, Эйжен! Мост из дней прошлых в дни сегодняшние — его не могло разрушить ни время, ни бездорожье тех лет.

Ты был «красным учителем», и поэтому тебе и твоей семье не нашлось места в Лапмежциемсе. С формальной точки зрения все было обставлено вполне благопристойно: у вас большая семья, а комната так мала... Мы дадим вам новое место с квартирой...

Просто ты не нужен был, Эйжен, волостной управе. Зачем ей «красный учитель», когда в поселке полно «красных рыбаков»? Нет уж! Пусть убирается подобру-поздорову.

И тебя убрали, Эйжен.

В тридцатом году ты оказался в Трапене.

Двести километров от Риги по Псковскому шоссе. И десять километров — к бывшему баронскому имению Борманьмуйжа...

Осенью — в разгар ее буйного пылания — мы побывали с тобой там. Ты не скрыл от меня, что это возвращение в сорок лет прошлого было подернуто грустной дымкой. Той осенней дымкой, которая радует глаз пышностью красок, но от которой одновременно замирает сердце.

Трапене!...

Трапене!..

Другие люди, но такие же дети.

Тот же «красный учитель», снедаемый беспокойством за их будущее.

Райнис был еще и еще раз прав. В тебе, Эйжен, кипели несметные силы. Ты был готов перевернуть всю Борманьмуйжу, чтобы оторвать крестьян от повседневности. И тебе это удалось. Даже сорок лет спустя трапенские жители будут помнить...

Что новую школу для их ребятишек построил Эйжен Веверис...

Что перекроил баронский дом в Дом культуры Эйжен Веверис...

Что хором руководил ты — Эйжен...

Что пьесы Блаумана на трапенской сцене впервые поставил ты — Эйжен...

Что революционный райнисовский стих здесь мощно и ярко прозвучал из твоих уст...

Не поэтому, ли, скажи, Эйжен, в годы войны многие твои бывшие трапенские первоклассники ушли в партизаны, стали стрелками-гвардейцами. Это не твой ли ученик Харий Лукстынь в ночь с шестого на седьмое декабря сорок третьего года отбивался от полицейских! Отбивался до последнего патрона...

Вспомни свой последний патрон на берегу Даугавы, Эйжен! Мне думается, у того трапенского партизана последний патрон был из твоей обоймы...

Люди оставляют на нашей земле не только зримые или ощутимые памятники. Ты это хорошо знаешь, Эйжен.

Твой памятник всегда будет в Трапене.

Тебе опять повезло, Эйжен!

Карл Ульманис и его чиновники от просвещения не могли допустить, чтобы новенькой, «с иголки» школой, да к тому же школой образцовой, куда частенько навещались дамы из благотворительных обществ, — чтобы ею руководил «красный учитель» — смутьян и почти коммунист. И тебя...

Тебя перевели в Билску. Снова говорились

благопристойные слова, снова были цветы (или их не было!). . .

Снова перед тобой простирались холмы Видземе. Снова ты шел в атаку, Эйжен. . .

Если бы те чиновники от просвещения догадывались, что в Трапене ты не только учительствовал и просвещал, но и прятал в своей квартире скрывающихся от полиции коммунистов, держал в тайниках подпольную литературу. . . Если бы они об этом знали! Не видать бы тебе, Эйжен, Билски.

Билска!

Это была последняя школа в твоей первой жизни, Эйжен.

Последняя обойма. . .

Последний патрон. . .

Последняя школа!

Какой разный смысл у этих слов.

И какой одинаковый!

Билска! . .

Она затерялась где-то между Смилтене и Валкой.

И хотя географически Билская школа была ближе к Смилтене, — неполных десять километров извилистого большака отделяло ее от этого городка — в судьбе Эйжена она примыкала к Валке.

Билска! . .

Школа стояла в парке. Могучие вязы и липы целыми днями любовались на себя в зеркале пруда, а по ночам. . . Ночами они подкрадывались к дому и стучали в окна, будто тосковали по теплу и ласке.

Она была очень старой, эта школа: со сгорбленными потолками, с лесенкой, испуганно дрожащей от топота множества ног, с сучкастыми буграми половиц. Скрипом половиц — то недовольно-пронзительным, то глухо-печальным, старая школа, как казалось Эйжену, вечно брюзжала о чем-то. . . И вообще она жила своей, потаенной жизнью, невидимо отделенной от людского глаза. . .

Время отсеет из памяти Эйжена многое из того, что происходило в Билске. Но стон половиц старой школы останется с ним всегда...

Девочки и мальчишки. Каждый день он слышал их голоса, каждый день — шесть лет подряд — вникал в детские радости и детские печали. Видел, как из несмышленишей ребята превращаются в маленьких человечков, способных вместить в себя и радости и тяготы жизни. Как ему бывало горько, когда, распознав в мальчугане или девчужке способности к большому и нужному делу, он вскоре видел, как сгибала их жизнь, как робкие ростки талантов так и не становились деревцем.

Они были самыми обычными крестьянскими детьми — школьники Билски.

Эйжен знал, как нелегка жизнь их родителей — заболоченный кусочек пахоты едва кормил семью, — и всеми силами стремился помочь им. Помочь хотя бы участливым словом, советом. Как часто на родительских собраниях помимо педагогических дел обсуждались насущные крестьянские проблемы: о земле, налогах, несправедливости властей.

И в Билской школе Эйжен оставался «красным учителем». Да и могло ли быть иначе? Ощущение и понимание людских тревог и забот дали ему все минувшие годы. Он носил в себе разноголо-сицу века: сочащиеся кровью следы войны, смя-тицу газетных страниц, силу райнисовского стиха, революционный ветер с востока.

Там, в тихой и далекой от главных жизненных перекрестков Билске, Эйжен слышал не только стон половиц отживающей свой век школы, но и уверенные шаги будущего.

Он еще не знал, что принесет это будущее ему самому и его семье, но был уверен, что уже близка ломка общества глухих и слепых мещан.

И был готов к этой ломке.

В то лето Эйжену исполнился сорок один год. У него было пять детей — три сына и две дочери.

Он считал, что находится в расцвете сил — физических и моральных. И ошибался! Потому что

настоящая зрелость придет к нему позже — во второй жизни.

Да, у него за плечами был уже немалый путь...

Да, этот путь закалил его характер, определил основные принципы жизни...

Да, Эйжен Веверис был готов перекинуть свой мост — мост из прошлого в будущее, — поставив твердые опоры в настоящем, сегодняшнем дне...

И все-таки подлинная зрелость к нему придет позже.

В то лето ему исполнился сорок один год...

В то лето сомкнулись звенья из цепи истории — звенья, оборванные весной девятнадцатого года. Народ снова пришел к власти.

Снова были многолюдные митинги...

Снова развевались знамена — красные знамена революции...

Снова звучали песни...

Снова по всей Латвии шагали красные латышские стрелки. Ничего, что они были одеты не по форме! Стрелки оставались стрелками...

Тогда, в девятнадцатом, на берегу Даугавы, Эйжен был в арьергарде революционных боев...

Мог ли он теперь не быть в их авангарде! Его линия фронта пролежала на незаметном, казалось, рубеже — Билске. Время покажет, что рубеж этот был не совсем незаметным...

Работа, работа, работа!

Она сглатывала дни и ночи.

И по мере того, как укреплялась народная власть, работы становилось все больше и больше.

В то лето Эйжен крепко подружился с Янисом Ласманисом, бедняком-крестьянином, и Янисом Брувиньшем — батраком. Они были очень разными, эти Янисы, разные по обликам, по характерам. Медлительный, скупой на слова Брувиньш и быстрый в слове и деле Ласманис... Но в главном они были схожи — в своей яростной неприимости к врагам молодой власти.

Время требовало ярости...

Время требовало отдачи всех человеческих сил...

Время решало: «за» или «против»!

«За» было большинство. «Против» — меньшинство. Но была и «третья сила» — колеблющиеся, выжидающие. Их надо было убедить, повернуть на свою сторону.

Эйжен взялся за эту работу.

Несчитанные километры волостных дорог отшагал тогда Эйжен вместе с двумя Янисами. От хутора к хутору несли они людям слово правды. «Людям надо говорить правду», — припомнятся Эйжену слова Яниса Биркенфельда, сказанные когда-то на станции в Валке.

В те дни и месяцы он впервые осознал значение слова «самозабвенно».

Оказалось, что самозабвенно могли работать не только Джордано Бруно, Бетховен, Кришьян Барон или подвижники революции, но и простые крестьяне Янисы и он сам. Оказалось также, что самозабвения требовали не одни великие дела, решавшие судьбы всего человечества или народа, но и дела будничные, каждодневные, вершившиеся в сравнительно узких границах волости.

Земельная реформа...

Забрать землю у тех, кто ею владел в избытке. И отдать тем, у кого ее не было. Просто и ясно. Просто!

Ясно!

Днем — вместе с Ласманисом и Брувиньшем — Эйжен по справедливости делил землю, а ночью...

Ночью в его квартире раздавался телефонный звонок и чей-то голос угрожал: «Мы с тобой считаемся, большевистская сволочь!».

Новая конституция...

Дать людям представление о их правах и обязанностях, раскрыть крестьянские глаза на преобразуемый мир. Просто, ясно.

Просто!

Ясно!

Днем Эйжен выступал в переполненном Народном доме, убеждал неубежденных.

Ночью тот же голос хрипел из телефонной трубки: «Мы с тобой рассчитаемся, большевистская сволочь!».

Дни и ночи.

Ночи и дни.

«В сущности, — станет думать Эйжен, — эти дни и эти ночи продолжат те дни и те ночи, которые уже были и в моем детстве и в моей юности». И обобщит эту мысль, сравнив переживаемое его народом время с «Огнем и ночью» Райниса.

Дни и ночи.

Огонь и Ночь!

В этом Огне и этой Ночи были и свои Лачплесисы и свои Лаймдоты, и свои Спидолы, и свои Черные рыцари, и свои Кангары. Может быть, в жизни они не столь красочны и ярки, как у Райниса, но он чувствовал их присутствие...

Каждый день...

Каждую ночь...

И наверное, поэтому так часто читал людям бессмертные райнисовские строки:

... Пусть в Латвии свет озаряет души,
Пусть радость в ней почувствует каждый,
Пусть горя стоны замрут,
Пусть люди поровну делят счастье,
Пусть будет работа у них и отдых,
Пусть все свободно стремятся к солнцу,
Чтоб мысль и чувство оков не знали...*

Летом сорокового года Эйжен не знал, что стоит на пороге нового Огня и новой Ночи.

В марте сорок первого года Эйжену Веверису предложили стать инспектором народного образования Валкского уезда.

Эйжен согласился и со своей семьей переехал в Валку. Здесь поселились в небольшой квартире на окраине города...

* Перевод Вс. Рождественского.

Валка!

Снова ты стала на пути Эйжена.

Тихая и задумчивая, вся в сочно-зеленых тенях своих лип и кленов, ты, Валка, отпустишь Эйжена в горький путь...

Путь восхождения на Голгофу.

Вершиной его Голгофы станет проклятая земля Маутхаузена...

А у основания будешь лежать ты, Валка, без вины виноватая и без любви любимая...

АВТОР — ЭЙЖЕНУ ВЕВЕРИСУ

Сейчас, Эйжен, нам предстоит вспомнить зыбкую тишину лета сорок первого года. Впрочем, зыбкую ли! Может, она кажется такой только теперь — из дали лет!..

Нет! Багровое око войны уже сверкало на недалеком Западе. Мы не видели его, но оно было там — целилось в нас, ощупывало нашу границу, наши города и дома. В глубине души мы ощущали и понимали грозное приближение схватки с фашизмом, но в той же глубине жила наша твердая вера в силы мира. И второе чувство брало верх над первым. Наверное, это оттого, что человек живет надеждами — в большом и малом — надеждами. Иначе зачем жить!

В те последние предвоенные дни ты думал, как лучше организовать летние ребячьи каникулы (они растянулись на четыре страшных года! Лучше бы их не было, этих каникул)...

Ты ездил по школам, готовился к новому учебному году (которому так и не суждено было начаться)...

Ты преподавал русский язык командирам латышского территориального корпуса. И немецкому ты их тоже учил (жуткой ценой расплатятся с тобой некоторые из учеников)...

Словом, как и все, ты был занят обычным делом.

Но око войны все шире и шире распахивало свои стальные ресницы!..

Говорят, Эйжен, что будущее вытекает из прошлого и настоящего, но если это так, то мы должны были бы его знать. Или будущее — это нечто третье, не связанное ни с чем! Такое, что не поддается определению и не укладывается ни в какие законы! А как же тогда надежда — будущее!

Подошел день, когда ты задал себе эти вопросы.

Тот — июньский день, накануне Лиго!

Но и он не помог тебе разрешить их.

Только много лет спустя, когда на проклятую землю снова прилетели жаворонки, ты по-своему определил связь времен и сказал поэтическое слово о Человеке, неподвластном времени...

5

Была сумятица первых дней войны.

Была ярость...

Боль...

Слезы...

Надежда...

Горе...

Вера...

Была сумятица первых дней войны.

С лихорадочной поспешностью собирали детей и отправляли подальше от надвигавшегося стального вала.

Слезы...

Столько детских слез Эйжен никогда не видел!

И не увидит, потому что те дети, которые ждали его в будущем, — не плакали. У них в глазах уже не было слез...

В них была мудрость...

Страшная мудрость смерти!..

Целыми сутками Эйжен не появлялся дома. Не было времени подумать о себе. Надеялся, что успеет уехать на последнем поезде или последнем грузовике...

Но ни грузовик, ни поезд не приходили.

Зато все ближе и ближе были выстрелы.

Первые выстрелы в новой войне! Эйжен ощутил их сквозь биение собственного сердца. И от этого чужая боль стала его болью.

Болью Прометея назовет он ее в будущем...

Снова, как в девятнадцатом, — в арьергарде...

Снова, как в девятнадцатом, — до последнего патрона!

Патрон тот был заряжен людской болью.

Потом он полтора месяца скрывался.

Точнее — полтора месяца его скрывали.

Чужая боль обернулась чужой добротой.

Добротой и честностью.

Но могут ли доброта и честность быть чужими!

Эйжена скрывали люди, чьи сердца бились в унисон с его сердцем.

Полтора месяца доброты, доверия и мужества...

Как много!

И так мало...

Эйжена выдала квартирная хозяйка.

Она встретила на улице младшую дочь Эйжена — Лауму. Девочка прыгала на одной ножке и что-то напевала.

— Как тебе не стыдно, Лаума! — прервала ее песенку хозяйка и сложила свои синеватые губы куриной гузкой. — Твой папочка, может быть, уже убит, а ты скачешь и поешь...

— А вот и неправда! Вот и неправда! — Девочка вот-вот готова была расплакаться. — Мой папа дома! Он уже целых два дня дома...

— Вот как!

И все!

Недопетая девочкина песенка! Наивная, как сама Лаума. Этой ли песенке звучать детским голоском в мире, где гремели канонады!

В тот же день хозяйка пошла в полицию и рассказала, где прячется «коммунист Веверис». Таким способом она надеялась продлить свое существование. Но ей суждены были недолгие дни. Ведь трусость недолговечна, даже в мире, постро-

енном на страхе, в мире, где обрывают детские песенки.

Эйжен унес из дома, растоптанного сапогами полицейских. . .

Безнадежный взгляд жены. . .

Непонимающий испуг детей. . .

И умирающий шепот своих стихов.

Его увозили в ночь. . .

В ночь без огня и детских песенок.

. . . Скрутили за спиной руки.

. . . Привели в Народный дом, где помещалась комендатура.

И все это сделали не немцы — нет! Это сделали люди, говорившие с Эйженом на его родном языке, родившиеся на одной с ним земле — янтарной земле Латвии.

Черные кангары черного дела!

Один из них — валкский комендант капитан Ремесс — встретил Эйжена как старого знакомого. Они и действительно были знакомы. По курсам немецкого языка, которые вел Эйжен в латышском территориальном корпусе. Тогда Ремесс был молчалив и сдержан. А сейчас. . .

Сейчас он окинул Эйжена сочувствующим взглядом:

— Боже мой, товарищ Веверис! Что они с вами сделали! Фу, какая пакость! Связывать учителю руки. Немедленно развяжите!

Все, что потом говорил валкский комендант, было не просто нарочито откровенным или нарочито сочувствующим, нет. Словами, жестами короткопалых рук, мимикой тонкогубого лица Ремесс пытался внушить Эйжену мысль о никчемности его жизни.

— Зачем мы вас арестовали, товарищ Веверис! — Ремесс упорно называл Эйжена «товарищем», придавая этому слову язвительный оттенок. — Честное слово, не знаю. Полтора месяца вы прятались и испытывали страх. Прошло бы еще. . . неважно сколько, и вас бы тот страх погубил. Что бы вы тогда предпочли — пулю или

петлю? Как же нам теперь с вами поступить? Пытать! Ни к чему. Что, собственно, вы можете нам рассказать? Назвать фамилии коммунистов и их пособников? Че-пу-ха! — Комендант достал из стола серую папку. — Вот он, полный список валкских товарищей — партийных и беспартийных. Часть из них удрала на Восток. Остальных мы взяли... Ваша фамилия тут тоже значится. Видите!.. Пока вы агитировали за Советы, мы составляли списки. Мы более предусмотрительны, чем вы...

Комендант задумчиво прошелся по комнате, словно бы решая трудную задачу, в то же время давая понять Эйжену, что задача им уже решена.

— Преподавать нам немецкий язык, вы, товарищ Веверис, конечно откажетесь!.. И правильно — у нас теперь более квалифицированные учителя. Послать вас копать землю! Но вы же интеллигент! А интеллигенцию надобно беречь. Не правда ли? Вот я и думаю: а не сделать ли вас учителем! Учителем в большом философском смысле! Как Христос, а! Вы не хотите стать новым Христом, товарищ Веверис! От этого была бы польза и вам и нам. Не понимаете? Ай-ай! Такой образованный человек, а не понимает простых истин. Слушайте: вы примете мученическую смерть — как Христос! Говорят, такая смерть гораздо приятней ординарной. Вот вам ваша польза... А наша!.. Наша будет гораздо скромнее. На вашем примере мы научим других — не только интеллигентов, конечно, — уважать наши принципы и бояться смерти. Итак, резюмирую: вы, товарищ Веверис, станете нашим валкским Христом, мессией, так сказать — воспитывающим и предостерегающим.

Снова связали руки...

И препроводили в полицейский участок.

Значит — смерть! Мученическая, как определил ее болтливый хлыщ Ремесс. Что ж, он, Эйжен, ожидал, что рано или поздно ему придется с нею встретиться. Не все же пули, свистящие в этом мире, могли пролетать мимо него.



Говорят: свою пулю не слышишь...

Слабое утешение!

А нужны ли ему утешения? Ведь никогда и ни перед кем Эйжен не унижался до утешения. Так неужели он унижится теперь перед самим собой?

Христос!.. Валкский Христос. Какую несусветную чушь городил этот солдафон, играющий в интеллигента.

Лежа на грязном полу валкского полицейского участка, Эйжен тихо рассмеялся.

Он и в дальнейшем всегда будет смеяться над глупостью своих палачей.

На рассвете следующего дня...

Их было четырнадцать человек — без имен, без фамилий, без номеров...

Их было четырнадцать — тринадцать мужчин и одна пожилая женщина со сбившимися волосами...

Их вывели из сарая во двор полицейского участка, ловко и быстро связали руки за спиной и, как дрова, побросали в кузов тупомордого грузовика...

Четверо полицейских — на четырех углах кузова...

В другой грузовик уселись двадцать полицейских, которыми командовал тонконогий офицерик. Эйжен сразу узнал его — бывшего офи-

цера латышского территориального корпуса Балодиса.

Рыча и отплевываясь сизым дымом, грузовики помчались через Валку. Лежа на дне кузова, Эйжен увидел, как мелькнул в небе остроконечный шпиль кирхи... Смутно угадывал улицы, по которым ехали...

«Ну, вот и все! Конец концам и конец началам, — думал он. — Только держаться! Только выдержать эти последние мгновения».

Четырнадцать человек молча лежали на дне грузовика...

Четырнадцать человек молча прощались с жизнью!

Эйжен никогда не узнает, кто был кто...

Вырвались на большак грузовики, прибавили скорость.

Скорее! Скорее! Скорее!

Недолго постояли у железнодорожного переезда. В клубах дыма промчался поезд...

Перескочили горбатый мостик...

Четырнадцать человек в кузове!...

А в небе — облака, плывущие из бесконечности в бесконечность.

Стоп!

Последняя остановка!

Удары сапог: «Вылезай!»

Песчаный холм — Седаскалнс, — поросший стройно-угловатыми, как девочки-подростки, сосенками...

Не на такие ли высоты Эйжен ходил в свои атаки! Как давно это было! И как недавно.

Четырнадцать человек стали на краю неглубокого рва!...

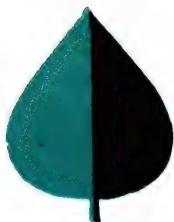
Четырнадцать человек! Тринадцать мужчин и одна пожилая женщина.

Все вместе и каждый в отдельности они сейчас защищали свой последний рубеж. И был тот рубеж малой частичкой гигантского фронта, тянувшегося с севера на юг по таким же вот высоткам, по берегам рек и опушкам лесов...

Четырнадцать из тысяч и тысяч солдат, стоявших насмерть!

Тонконогий Балодис взмахнул белой лайковой перчаткой. . .

И на этом оборвалась первая жизнь Эйжена Вевериса.



ЖИЗНЬ ВТОРАЯ

**В тот день,
Когда ветер был бритвы острее,
К жизни нас подняла
Боль Прометея.**

Эйжен Веверис. «Пробуждение».
Стихотворение посвящено
Герою Советского Союза
генералу Дмитрию Карбышеву.

Пули снова свистели над миром. . .
В смертельном бою Огня с Ночью.
Бой продлится четыре года. . .
И победителем станет — Огонь!
Но люди пока не знали этого. Они шли в бой. . .
Веря. . .
И не веря. . .
Что свет победит тьму.
Свистели. . .
Свистели пули!



Каждая искала сердце.
И не каждая пролетала мимо. . .
Рождались герои. . .
Рождались в муках: они были только людьми —
герои.
Умирали солдаты. . .
Они тоже были только людьми.
Была Лиепая. . .
Был Брест. . .
Была смерть. . .
И рождалось бессмертие.
Умирали люди. . .
И воскресали. . .
Чтобы стать Прометеями.
Прометеями XX века.

Подкошенные выстрелами, тринадцать человек упали в ров...

Четырнадцатый упал вперед, на пожухлый мох. Четырнадцатым был Эйжен Веверис.

В памяти ли, в беспмятстве ли слышал, как прозвучали тринадцать сухих выстрелов — это тонконогий Балодис, не снимая с рук лайковых перчаток, из револьвера достреливал лежащих во рву. Потом подошел к Эйжену, ткнул его сапогом в бок:

— Вставай!

Два полицейских помогли Эйжену подняться, нацепили упавшие очки.

— Ты надеялся умереть легко и быстро, красивый учитель! — Балодис рассмеялся. — Не спеши! Мы тебя, конечно, расстреляем. Но когда? Может, завтра, а может, через месяц. Будешь умирать и воскресать. Как Христос!..

Так началась вторая жизнь Эйжена Вевериса. И в ней он не раз увидит смерть, не раз пройдет сквозь строй таких мук, которые должны были бы убить в нем все человеческое.

Но всем смертям и мукам назло он останется человеком.

В августовский день сорок первого года, когда в неглубокий ров на Седаскалнсе упали тринадцать неизвестных, когда по небу мчались и мчались кудрявые облака, а в траве пронзительно стрекотали кузнечики, в тот день Эйжен с необыкновенной отчетливостью понял, что все прожитые до сих пор годы были прелюдией к новым дням и ночам, через которые ему предстояло пройти.

Он не спрашивал, сколько ему отпущено этих дней и ночей. Но мысленно решил не сдаваться, не покоряться судьбе и, конечно же, не вымаливать у палачей продления жизни.

В тот августовский день сорок первого года Эйжен еще не оглядывался в прошлое, в первую свою жизнь. Но уже подспудно чувствовал, что она будет питать его своими соками, своей энергией.

... Его снова бросили в грузовик.

— Христос воскрес! — ржали полицейские.

Снова рычал грузовик.

Проехали горбатый мостик...

Железнодорожный переезд...

Крутой поворот направо — Валка!

Какими короткими были эти три километра —
туда...

И какими длинными — обратно.

Сколько раз Эйжен будет мерить эту дорогу!

И чем ее измерить!

Глазами!...

Слухом!...

Мыслью!...

Кровью!...

Первые три километра длинной дороги второй
жизни...

Чем он их измерит!

Этого Эйжен пока не знал.

По пути туда их было четырнадцать!...

По пути обратно он был один.

— Христос воскрес! — ржали полицейские.

В следующий раз их было пятнадцать.

Один — избитый до полусмерти — не мог ходить. Его выволокли во двор и, не связывая рук, бросили в грузовик.

Он лежал рядом с Эйженом и спекшимися губами силился сказать какое-то слово.

Оно так и осталось невысказанным...

Трясся грузовик, увозя в смерть пятнадцать человек.

Промелькнул полосатый шлагбаум железнодорожного переезда...

Взлетел на горбатый мостик грузовик...

Тихо качались на ветру подростки-сосенки.

Свежий ров...

Двоим развязали руки, чтобы они могли держать третьего, шептавшего что-то сквозь спекшиеся губы...

Пятнадцать человек стояли на краю рва!

Взмах перчатки и...

Четырнадцать упали, скошенные залпом.

Эйжен остался стоять на краю могилы...

Один!

Один среди мертвых!

Неслись по небу облака...

Трещали кузнечики.

Сухо щелкали пистолетные выстрелы, это палач Балодис добивал раненых...

— Тебе опять повезло! — рассмеялся Балодис, застегивая кобуру. — Христос снова воскрес...

У Эйжена помутнело в глазах, и он упал, ткнувшись лицом в серый мох...

Очнулся, когда его с размаху швырнули в кузов грузовика.

Христос воскрес!

Потом опять рычала машина...

Опять был горбатый мостик...

Железнодорожный перегон...

И крутой поворот направо.

— Мы тебя обязательно расстреляем в следующий раз, — пообещал Балодис.

— На этот раз все! Приказ начальства! — Балодис недобро усмехнулся. — Конец Христу, не воскреснет!..

Шесть мужчин и две женщины тряслись на дне грузовика.

Знакомый до мелочей путь на Седаскалнс...

В третий раз Эйжен ехал этим путем, бес- сильно надеясь, что не вернется. Да, он устал! Устал ждать смерти.

«Они все-таки сломали меня», — безразлично думал он.

Но он еще не знал, что пройдет и через это испытание, и через многие другие. Не знал, какие силы заложены в нем первой жизнью...

Восемь человек в кузове...

Восемь пар связанных рук...

Восемь пар глаз, устремленных в самих себя...

Восемь замученных, но не сломленных!

Опять железнодорожный переезд...

Горбатый мостик...

И крутой подъем на Седаскалнс.

Сосенки!...

Дети! Дети мои!...

Белая перчатка...

Залп!

— Мазилы! — презрительно бросит Балодис полицейским. — Вам же было сказано — кончать всех! И Христа тоже...

Эйжен выстоял перед третьим залпом.

Не упал!

Выстоял!

— А тебя, Христос, кажется, и в самом деле пуля не берет, — скажет один из полицейских на обратном пути. — Я же целился...

Моросил дождик...

Осенний ветер свистел в проводах...

Как пули, которые только что снова просвистели мимо Эйжена.

По Валке поползли слухи: полицейские уже в который раз пытаются расстрелять опасного коммуниста, но его не берут пули.

От этих слухов у иных, забравшихся в свои щели-домики, страхом округлялись глаза, а губы произвольно начинали шептать молитвы...

У иных дрожали руки — будто их самих возили на смертную казнь...

Третьи задумывались... Не все еще, видно, потеряно в этом мире, где царствовала ночь.

Ползли по Валке слухи...

Бередили умы и сердца людей.

То был обыкновенный каменный сарай, без окон, но с крепкими запорами на дверях.

То был обыкновенный сарай, где теперь держали смертников. И хотя отсюда ежедневно забирали людей и возили на Седаскалнс, он всегда был переполнен.

На смену одним поступали другие.
Смена — смене!

Человек полтораста всегда было в этом сарае...

И каждый из них ждал своей очереди.

Отсюда уходили, но сюда не возвращались.

И только Эйжен Веверис вернулся...

Вернулся уже в третий раз!

Сто пятьдесят человек ждали смерти...

Одни, обессиленные пытками допросов, ждали ее как избавления от мук.

Другие — отупевшие и безразличные ко всему — и ждали и не ждали...

Третьи надеялись...

Надеялись обмануть смерть, шагами часового прохаживающуюся у дверей, криками полицейских оравшую во дворе...

Эйжен почти ни с кем не разговаривал. Он еще не знал, что молчание — не самый лучший способ избавиться от мыслей. Не знал, что молчание — тоже пытка, — страшная пытка, через которую ему еще предстояло пройти. Не знал, а потому сам себя обрек на эту пытку...

После третьего возвращения с Седаскалнса с ним заговорил плотный невысокого роста мужчина, назвавшийся Эрнестом Калнынем, учителем.

— Держитесь, коллега! Мы постараемся для вас что-нибудь сделать.

— Кто это — мы?

— Люди! — Калнын помедлил и тихо добавил: — Те, кто не сдался.

Эйжен подумал: видимо, хороший человек этот учитель. Но именно поэтому он здесь.

— Попробуем перебросить вас в подвал, — добавил Калнын.

Подвал под полицейским участком. Там держали тех, кто казался немецким властям не опасными, тех, кого следовало хорошенько попугать и отпустить, — пусть работают на рейх. Из подвала в сарай переводили, но наоборот... На это не было надежды.

— Напрасно, — ответил Эйжен. — Только погубите себя.

— Нам, как и вам, терять нечего. Но если мы спасем вас — то спасем и себя.

Тогда Эйжен не понял большого значения этой мысли: «спасти тебя — значит спасти и себя». Эта формула — формула братства и Сопротивления — станет законом его дальнейшей жизни лишь впоследствии. Тогда же он поблагодарил учителя слабой улыбкой.

Улыбкой!..

Он еще не потерял способности улыбаться.

В четвертый раз ему связали руки...

В четвертый раз бросили в грузовик...

Как и в первый раз, их было четырнадцать человек.

Как и в первый раз, Эйжен испытывал...

Смерть, как любовь, — сколько бы раз они ни приходили — перечувствуются заново.

Смерть!

Любовь!

Тьма!

Свет!

Неужели они в чем-то схожи?

Имеют одну точку опоры?

Но любовь — говорили философы и писатели — сильнее смерти.

Значит и его — Эйжена — любовь должна победить смерть?

Четвертую смерть, которая ждала его на Седаскалнсе.

Как странно это звучит — четвертая смерть...

Она же одна...

Как жизнь...

Рычал грузовик.

Ржали полицейские: «Теперь ты от нас не уйдешь, Христос!»...

Шлагбаум переезда...

«Как вход в ад», — подумает Эйжен.

Горбатый мостик...

«Куда ты ведешь меня, Вергилий!» — мелькнет в его сознании.

Натуженно зарычал грузовик, поднимаясь в гору...

«Голгофа», — скажет себе Эйжен.

Сосенки-подростки...

«Девочки! Девочки мои!»

Четырнадцать человек стояли на Седаскалнсе. За их спинами был не свежеврытый ров — нет. Весь мир — с его светом и разумом, с его солнцем и улыбками, с его гордостью и мужеством — весь мир был за их спинами. А впереди, нацелившись в четырнадцать сердец, черными дулами ошетибилась смерть.

Тринадцать сердец пробили пули...

Тринадцать человек упали, но не сдались...

В четвертый раз Эйжен остался в живых.

Остался, чтобы не сдаться.

Никогда!

Опять сарай...

Опять ожидание...

Сколько дней и сколько ночей прошло! Эйжен не знал.

Однажды распахнулась дверь. На пороге стоял капитан Ремесс — валкский комендант.

— Товарищ Веверис! — прозвучал его голос. — Вам не надоело умирать и воскресать! Одно ваше слово, и из бессмертного Христа вы превратитесь в обычного смертного человека. Я подарю вам смерть, желаете? Только одно слово: «простите», и наши расчеты будут окончены. Ну!

Эйжен молчал.

— Ах так! Желаете оставаться Христом! Что ж, мы не против. Только... Только теперь мы будем вас вешать. — Ремесс сделал выразительный жест рукой. — Ве-шать! У нас, знаете ли, имеются разные веревки — и слабые, и прочные. Не ручаюсь, что вам, товарищ Веверис, сразу достанется прочная. Ха-ха-ха!

Итак, новая попытка смертью.

Пытка только для того, чтобы он признал себя побежденным.

Побежденным коричневой чумой!

И тут, когда уже казалось, что неизбежное неизбежно, когда Эйжен готовил себя к новым мучениям, мысленно проходя предстоящий путь — от новой смерти к новому воскресению, — тут случилось...

Случилось чудо!

В последующие дни, месяцы и годы Эйжен не раз переживет такое «чудо». Но тогда, в serene осенний денек, оно было первым в длинном ряду себе подобных и поэтому останется в памяти навсегда.

Сколько-то часов прошло после ухода коменданта!.. Сколько-то минут! Или дней! Время сместилось в сознании Эйжена.

Время стало абстрактным, хотя и протекало в реальном мире. Трехмерное, оно приобрело четвертую меру, неосознаваемую и неизмеримую.

... В какой-то миг этого времени Эйжен вдруг увидел, как все окружавшие его люди-смертники будто по команде сгрудились у двери и забарабанили по ней чем попало — кулаками, котелками, ногами.

— Воды! Воды! — требовательно разнеслось по сараю.

Дверь слегка приоткрылась.

— Молчать! — Полицейский был явно испуган. — Молчать!

— Воды! Неси воды!

— Не имею права уходить с поста. Пошлите кого-нибудь из своих, — полицейский хрипло выругался. — Пусть возьмет ведро...

Чьи-то сильные руки подхватили Эйжена и поставили перед дверью. Кто-то сунул ему ведро.

— Вот он! Пусть он сходит! — раздались голоса.

Творилось что-то небывалое: охранник разрешил одному из смертников выйти из сарая! В тот момент Эйжен еще не понимал причин происходящего. Не раздумывая, выбежал во двор и стал не торопясь качать воду в старенькое ржавое ведро.

Насос качал плохо. Вода бежала тоненькой струйкой. Накачав с полведра, Эйжен сполоснул его. Принялся накачивать снова.

Тоненькой струйкой бежала вода...

Бежало и время...

Бежало незаметно...

Сколько-то минут прошло!

А может быть, часов!

Вдруг за забором, окружавшим полицейский участок, послышался шум моторов, раздались команды.

Эйжен отчетливо услышал властный голос какого-то немца:

— Забирайте их всех, до единого! Без счета, всех!

— Но капитан Ремесс распорядился одного оставить...

— Здесь приказываю я! Понятно! Сарай должен быть пуст! Я проверю!

Позади себя Эйжен услышал шаги. Оглянулся: часовой!

— Ты что тут копаешься, тощая образина! Марш в подвал! Марш!

Пинками и прикладом часовой толкал и толкал Эйжена к подвалу. И в тот момент, когда в ворота въезжал первый грузовик, за Эйженом закрылась дверь подвала.

Он был спасен!

Случай!

Или!...

Да, это было чудо!

Чудо высшего человеческого мужества, родившегося в совместной борьбе людей, стоящих на краю могилы.

Помог и случай, но...

Но он был лишь внешним проявлением этого мужества.

Те, что остались в сарае...

Их погрузили на машины и отвезли на Седас-калнс.

Всех!

До единого!

Но перед смертью они дали жизнь Эйжену.

Как дорого иногда приходится платить людям за одну жизнь.

... Многие годы спустя Эйжен снова придет на Седаскалнс. Он прижмется морщинистой щекой к стволу тоненькой березки, посаженной школьниками у братской могилы, и в трепетном дрожании деревца ему почудится биение человеческих сердец.

Бессмертных сердец...

Неизвестных людей.

2

Валмиерская тюрьма!..

Два каменных корпуса, соединенных двором. А вокруг — ряды и ряды колючей проволоки. За ними — ровное поле. Оно упирается в парк.

Иршупарком издавна называют его валмиерцы. Когда-то он был частью крупного баронского имения.

По весне здесь пели соловьи и назначали свидания влюбленные.

Но то было давно. Очень давно. В незапамятные времена, когда солнце светило в глазах детей. Как давно это было!

За днями дней...

За ночами ночей...

Валмиерская тюрьма!

Ты была днем сегодняшним...

И днем завтрашним.

Хотя «завтра» может и не быть.

«Завтра» стало символом будущего. Только символом! Потому что сегодня тебя могут отвести в Иршупарк на свидание...

На свидание со смертью.

И тогда — прощайте, соловьи! Прощайте!.. Прощ...

А сегодня ты должен молчать. Молчать минуту, десять, час, два — до обеда. Потом — короткий перерыв, во время которого допускается

перекинуться парой слов с соседом по нарам. А затем — до ужина — снова молчание. И ночью тоже...

Начальник тюрьмы Рунке и старший надзиратель Буш придумали этот способ «перевоспитания» заключенных.

Пытка молчанием!...

Сорок человек усаживались за длинный стол, установленный в камере.

Сорок человек клали руки на стол и упирались подбородками в собственную грудь.

В таком скорбном положении, по мнению Рунке и Буша, заключенному удобнее всего думать о бесцельно прожитых годах, о преступлениях, совершенных им перед великой Германией.

И — ни слова! Ни звука! Нарушителей молчания — в карцер. При новых нарушениях — в Иршупарк.

В первый день пытки ничего не произошло. Кое-кто усмехался: тюремное начальство придумало детскую забаву...

Во второй день усмешек уже не было. Тягучедлинная тишина нарушалась только вздохами и покашливанием...

На третий день — после обеда — один из заключенных вдруг уронил голову на стол и забился в бессильном плаче. Его с трудом успокоили соседи.

На четвертый день — Эйжен отчетливо помнил, это было незадолго до ужина — сидевший напротив него рослый юноша внезапно зажал голову ладонями и дико, не по-человечески завыл:

— Га-а-ды! Что вы с нами делаете! Г-а-ады!

В камеру ворвались надзиратели Дрейялтс и Лиепиньш:

— Молчать!

Они выволокли юношу из-за стола, избили и отправили в карцер.

На пятый день уже с утра Эйжен почувствовал, что сегодня произойдет... Нет, он не знал, что случится. Но что-то томило его, тревожило, давило. Не было той ясности сознания, с которой он

все предшествующие дни перебирал в памяти читанные когда-то стихи. Сегодня куда-то уплывали, растворялись в подсознании хорошо знакомые строки. Мысли начали путаться, свиваться в бесформенный клубок. Он старался ухватиться за кончик нити, привычным усилием воли вернуть изначальную мысль.

О чем она была, та мысль?

Сказки Гофмана! Эрнста Теодора Амадея Гофмана!

Какая ерунда! Он же думал вовсе о другом... Утратив правый путь во тьме долины... Стоп! Это же четвертая строка из «Божественной комедии»... Утратив правый путь...

Нет, нет! Он думал совсем о другом...

Внезапно до слуха Эйжена донеслось одинокое хихиканье. Оно несло с другого конца стола. «Бред, — подумал Эйжен, — я брежу наяву»...

Снова хихиканье — уже погромче. Он поднял голову и встретился с бездумными глазами старика, которого все называли «мальчиком» — за хрупкость иссушенного годами тела. Глаза старика не выражали ничего, они были пусты, а лицо, обросшее седой щетиной, кривилось гримасой смеха. Оно было очень смешным, это лицо! Очень смеш... Ха-ха-ха! Эйжен вдруг расхохотался — громко, заливисто, как не хохотал уже давно... Понимал, что смеяться нельзя. Но не мог не смеяться.

Глядя на него, начали смеяться и другие. Сначала робко — пересиливая себя, а потом все громче и громче...

Через минуту уже хохотала вся камера. Хохотала безудержно, будто в трансе — необъяснимом и безумном.

Гремящая тишина вылилась в гремющий смех. Он заглушал все привычные звуки тюрьмы, вырывался из зарешеченного окошка...

Камера номер восемь смеялась!

Камера номер восемь хохотала!

Камере номер восемь было очень весело!

В тот день камеру номер восемь лишили пайка. Лишили хлеба, замешанного на жмыхах и древесных опилках. Лишили баланды...

Камера номер восемь начала сходить с ума!

Придя в себя после приступа безумного хохота, Эйжен понял, что от полного безумия их отделяет только шаг. Нет, даже не шаг, а нечто неизмеримое, что таит в себе эта тишина, с каждым днем густеющая и густеющая над покорно склоненными людьми.

Чем же им помочь! Чем помочь самому себе!

Ночью он пошептался с одним, с другим, с третьим...

А на следующий день — шестой день пытки — Эйжен сел во главе стола, спиной к дверному «глазку». Как положено — склонил голову и сложил руки. Выждал, пока камера наполнилась тишиной, и вполголоса, еле слышно, сказал:

— Я буду читать стихи. Буду рассказывать содержание книг. А вы — слушайте. Начинаю!

Как мне найти название песни вечной.
Как слабым словом передать мне то,
Что в звуках во вселенной бесконечной
Уму непостижимо, разлито,
Что с днем встает и меркнет, с ветром реет
И рушит гром, и, проникая лед,
В нагих полях ростками зеленеет, —
Звуча сквозь мировой круговорот,
Где смерть миров и новых солнц восход*.

Строками из «Ave sol!» Эйжен оборвал в тот день смертельную тишину восьмой камеры.

Оборвал смерть!..

Минута за минутой, час за часом, день за днем придуманная палачами пытка оборачивалась величием человеческой стойкости.

Райнис...

* Перевод Н. Манухиной.

Уитмен...

Лермонтов...

Диккенс...

Лацис...

Толстой...

Бальзак...

Фурманов...

Огнем своего творчества они побеждали ночь.

Студеную ночь 1942 года.

И звали к жизни, к солнцу тех, кто отчаялся,
кто готов был упасть и не встать.

В ту лютую стужу Эйжен отдал людям самое
дорогое, что имел: поэзию своей души, свои зна-
ния, свою доброту. С отчаянностью человека,
защищающего свое поправленное достоинство, он на-
чинал бороться с фашизмом единственной силой,
которой обладал, — силой слова.

Не всегда он будет выходить победителем из
этой борьбы. Но и побежденный, уверует в Победу.

По пятницам заключенных мыли в бане...

По субботам — расстреливали в Иршупарке...

Железная неотвратимость!

Никаких исключений из правил! Никаких откло-
нений!

Немецкая аккуратность и последовательность.

Хотя среди тюремного начальства не было ни
одного немца. Ни одного...

Латыши издевались над латышами ежедневно!

Латыши расстреливали латышей по субботам!

По субботам...

Обычно это происходило ночью...

Среди ночи во всех камерах мгновенно вспы-
хивали лампочки. Как сигнал опасности!

И люди начинали ждать, чутко вслушиваясь в
приближающиеся звуки...

Звуки смерти!

Смерть гремела коваными сапогами...

Хлопала дверями...

Хрипло ругалась...

Лапищами надзирателей хватала людей...

Тащила их по гулкому коридору.

Кто сказал, что смерть безмолвна!

Как и все, Эйжен ждал субботней ночи. Он заставлял себя забывать о ней, сдвинуть в далекое, далекое, но... Но ждал. И когда эта ночь наступала, лежал на нарах, уставившись в потолок невидящими глазами. О чем думал! Ему никогда не удастся восстановить в памяти те минуты и часы ожидания.

Но мысль — одну, неотступно одну и ту же, — которая приходила после того, как за смертью, выхватившей очередную жертву из их камеры, захлопывалась дверь, он запомнит навсегда. Это была даже не мысль, выраженная словами, а скорее вздох облегчения: пронесло! Не меня!..

Эйжен видел, что точно так же облегченно вздыхали и соседи по камере. И ему было мучительно стыдно и за себя и за них. Стыдно за то, что в чужие предсмертные мгновения и он и каждый другой — думали о себе.

Уже став зрелым поэтом, Эйжен напишет об этом стихотворение — психологически обнаженное стихотворение «Стыд». В нем он попросит вечного прощения у тех, кто ушел и не вернулся...

В одну из суббот смерть пришла и за ним.

Пришла в облике старшего надзирателя Буша — с одутловатым лицом, неизменной губастой ухмылкой и глазами, которые одновременно были и танковыми смотровыми щелями, и амбразурой дота, и прорезью в забрале...

— Эй! Учитель! Выходи!..

Во дворе ему связали за спиной руки. Зубастые колючки проволоки впились в запястья...

Десять человек молча шли через поле в Иршупарк. Шли по тропке, протоптанной сотнями ног. Тропка вела только «туда»...

Тропинка мертвецов...

Поле мертвых...

Холм смерти — Седаскалнс...

Люди! Когда же вы изгоните смерть!

Люди! Убейте смерть!



Десять человек шли по тропке в Иршупарк.
Эйжена и еще одного заключенного заставили
рыть могилу.

Здесь, в парке, Эйжен впервые увидел немцев.
Они стояли поодаль, и их черные плащ-накидки
тускло блестели в свете автомобильных фар. Это
были призраки.

Призраки ночи!

Восемь человек поставили у могилы.

Очередь Эйжена Вевериса еще не наступила.

Восемь человек запели «Интернационал».

С ними пел весь мир «проклятьем заклеямен-
ных».

Восемь человек недопели и первый куплет...

Недопетый гимн...

Недожитые жизни...

Недописанные стихи...

Сколько же ты стоишь, человек!

Сколько стоит твоя гордость...

Твое мужество...

Твоя улыбка...

Твои слезы!

— Закапывайте! — услышал Эйжен команду.

— Быстро!

— Нет! Не буду! — Эйжен не узнал собствен-
ного голоса.

Удар прикладом в лицо...

— Закапывай!

— Нет!

Еще удар...

— Нет!

Почему его тогда не расстреляли?

Почему!

Потому, наверное, что не всех солдат скаши-
вают пули даже в самом горячем бою.

Эйжена привели обратно в тюрьму...

Исключение из правил!

Нет! Подтверждение правил!

Утром — это было первое августа 1942 года —
когда вся восьмая камера в молчании слушала
рассказ Джека Лондона «Мексиканец», со скри-
пом отворилась дверь.

— Эй! Учитель! Выходи!

На Эйжена смотрели словно бы виноватые глаза старшего лейтенанта Клявиньша. Среди тюремного начальства он был, пожалуй, самым вежливым.

— Пошли! Хватит бездельничать! Есть работа!

Несколько шагов по коридору. В тупике — дверца. Звякнули ключи.

— Входи!

Крохотная конурка. Две кровати, стол.

И две девчушки, с испуганными глазками-пуговичками, с косичками-хвостиками. С черными школьными передничками на хрупких фигурках.

— Учи их, учитель! Скоро первое сентября! Учи их!

Щелкнул замок.

Они остались втроем.

Две девочки...

И Эйжен.

Две ученицы...

И учитель.

Боже, как он был счастлив!

Как вдохновенно забилося сердце! Снова — пусть на короткое время — стать тем, кем он был всю жизнь! Снова увидеть милые детские личики, заскорузлыми ладонями гладить головки и плечики.

Снова услышать голоса, казалось бы, уже заглушенные выстрелами на Седаскалнсе и в Иршупарке. Опять оказаться среди детей!

Безотчетно, повинувшись нахлынувшим вдруг чувствам, Эйжен прижался к черным ситцевым фартучкам, сиюсь сдержать слезы, которые уже катились по его щекам.

— Что с вами, учитель! Вам плохо?

— Нет, девочки, мне... мне очень... очень хорошо!

Как быстро забываются муки! Когда рядом отделенные лишь простенькими фартучками бьются детские сердца.

Сердца двух девочек, которых он никогда не знал...

И которые уйдут от него. Уйдут, быть может, навсегда...

Никогда он не был таким хорошим, таким умным учителем! Ни в Лапмежциемсе, ни в Трапене, ни в Билске... И на будущих своих школьных уроках он не будет таким вдохновенным, таким чутким учителем, как в те тридцать тюремных дней.

Да, Валмиерская тюрьма — с ее будничными ужасами, с ее пытками молчанием, с ее смертями — даровала Эйжену месяц солнечного счастья.

И счастье это воплотилось в двух десятилетних девочках, чьи имена он не запомнит, но чье дыхание сохранит в своей груди.

И когда-нибудь, среди сотен и сотен детских «почему!», на которые будет отвечать педагог Веверис, прозвучит совершенно особое «почему!» тех девчушек из Валмиерской тюрьмы, на которое не в состоянии будет ответить учитель, но на которое ответит поэт.

Месяц солнца!..

Месяц смеющихся глаз!..

Месяц детства!..

Каким ты был длинным, этот месяц! Длинным, как путь, по которому предстоит пройти.

Каким ты был коротким, этот месяц! Коротким, как счастье.

Первого сентября тысяча девятьсот сорок второго года в Иршупарке...

... Расстреляли двух десятилетних девочек.

Валмиерцы!

Люди!

Поставьте в Иршупарке монумент двум неизвестным девочкам в черных школьных передниках.

За свои десять лет они не успели сделать в жизни ничего...

Ничего!..

А разве умереть в десять лет от фашистских пуль — разве это ничего?

Нет! Это сумма всех дел! Итог жизни!

Поставьте девочкам монумент. Люди!

Здесь мгновения были взыскательней вечности: от мгновений зависела жизнь людей.

В одно из таких мгновений на сердце Эйжена, на все его чувства — прошлые, настоящие и будущие — черным крепом легли те ситцевые переднички девочек. Он напишет о них стихи, и в каждой их строке будет боль...

Неутихающая, вечная боль.

Он напишет это стихотворение двадцать восемь лет спустя после гибели тех девчушек. И не сможет сдержать слез...

Он думал, что сойдет с ума в те первые сентябрьские дни сорок второго. Смерть двух девчушек оказалась для Эйжена страшной и мучительней расстрелов на Седаскалнсе, изощренной пыток молчанием. Ему казалось, что гибель этих девочек — вершина всего, что только он может вместиť в себя...

Как он ошибался!...

Потому что, чем грубее, мучительней и страшней действительность, тем тоньше, нежней душевная самозащита. Эйжен поймет это позже, когда все круги фашистского ада замкнутся за ним.

Здесь, в Валмиерской тюрьме, Эйжен потерял двух маленьких друзей. Здесь он найдет нового друга, который станет его братом...

Братом по крови!

Его звали Василием Кумачевым.

Высокий, с налитыми силой мускулами, он в свои двадцать шесть лет успел перебивать и крестьянином, и лесорубом, и рабочим на Стайцельской бумажной фабрике. С первых дней войны ушел добровольцем в Красную Армию.

Сразу же после их знакомства Эйжен подумал, что в этом парне есть что-то от военных моряков, от их бесшабашной удали, от мужества, готового вылиться в минуту опасности, чтобы собственной грудью прикрыть грудь товарища.

Но Василий Кумачев не был моряком. Хотя...

В боях под Таллином, прикрывая отход наших судов из порта, Кумачев вместе со своим баталь-

оном держал оборону на 14-м километре шоссе, по которому рвались главные фашистские силы. Уже и город был занят, а остатки батальона стояли насмерть. И только когда был израсходован последний патрон, пришлось отойти... Ночью на Нарвской дороге они присоединились к группе моряков. По-братски поделили боезапас и буханки черствого хлеба.

А потом их окружили фашисты.

Сколько часов длился их последний бой? Никто не знал. Дрались до последнего...

Их осталось трое — два моряка и Василий. И не в эти ли последние минуты боя к лесорубу Василию Кумачеву перешло что-то от моряков?

Раненых и контуженых, их подобрали немецкие санитары... Так начался плен. Начались скитания Кумачева по лагерям и тюрьмам.

Да, было в нем что-то от тех «братишек», чье неизменное «Полундра, братва!», чьи тельняшки, бескозырки и бушлаты служили только внешним прикрытием распахнутой (всем смертям назло!) морской души. Души, не знающей компромиссов и страха, готовой к самопожертвованию.

Он был простым русским парнем — Василий Кумачев.

В ту осень сорок второго года он помог Эйжену снова вернуться к жизни. Помог не просто участливым словом или кусочком прогорклого хлеба — хотя и это было! — а спокойно-уверенным взглядом голубых глаз, застенчивой улыбкой физически сильного человека. Помог самим присутствием своим в восьмой камере. Он был заодно с Эйженом всегда...

А быть заодно в бессилии — это тоже сила...

Уже — сила!

Заклученных стали выгонять на работы.

Обычно они работали на Валмиерской железнодорожной станции. Грузили или разгружали вагоны, чистили, скребли, разгребали снег.

Стало легче...

И труднее.

Легче было оттого, что вырвались наконец-то из каменного прямоугольника камеры, который изо дня в день, казалось, становился теснее и теснее. Не только потому, что в него втискивали и втискивали новые жертвы, но и оттого, что рядом с каждым человеком, как бы ощутимые, громоздились его страдания. Эйжен чувствовал их поминутно, они обволакивали его густой пеленой.

Там, под открытым зимним небом, пусть в окружении вооруженных до зубов часовых, дышалось все же легче.

А труднее было оттого, что не хватало сил справиться с собственными ногами и руками, которые не могли ни ходить, ни взваливать на плечо бревно, ни держать метлу или лопату. Эйжену казалось, что он работает на пределе физических возможностей. Что сегодня вечером или завтра днем он уже не в состоянии будет подняться.

Как он ошибался!

Снова ошибался.

Потому что впереди его ждали такие физические перегрузки, в сравнении с которыми работы на Валмиерской железнодорожной станции покажутся легкой разминкой.

Но Валмиерская станция останется лежать на одном из островов его памяти не из-за непосильного труда. Она сохранится там нетронутой, цельной и необходимой...

Необходимой совсем по другой причине.

Однажды, раскапывая с Василием большую грудку мусора, сваленную неподалеку от будки стрелочника, они обнаружили сверток. Небольшой и аккуратный сверток с хлебом и маслом. Вначале решили было, что его забыл кто-то из железнодорожников.

Но когда на следующий день в том же мусоре нашли кусок копченого сала...

А потом — котелок еще теплой картошки...

Валмиерцы! Известные валмиерцы! Знаете

ли вы, сколько сил вы влили в заключенных своими кусочками хлеба, сала, колбасы! Сил не только физических.

Нет, не только!

И Эйжен Веверис, и Василий Кумачев, и многие другие заключенные Валмиерской тюрьмы в ту холодную зиму сорок второго — сорок третьего года были согреты теплом человеческого участия.

Участием в Сопротивлении!

Ведь сопротивляться фашизму, бороться с ним можно было не только на фронте, не только штыком и гранатой, но и целенаправленной добротой, запеченной в куске хлеба.

И еще один эпизод...

Он свяжет довоенные дни с ночами, в которые Эйжена бросила война и нашествие варваров.

Он вернет ему людей.

Людей, которые когда-то были в дне...

И которых поглотила ночь.

Но они будут! Да, будут в грядущих его днях, как они уже были в днях прошедших. Потому что не тает, не лишается смысла живая связь времен.

Юлис Спалвиньш...

Янис Эглитис...

Первый был председателем Трапенского вол-исполкома.

Второй — директором Палсманской школы.

До войны Эйжена связывали с ними общие заботы и дела — школьные, общественные, личные... Они встречались дома, говорили о разных разностях, молчали, пели песни, случалось, выпивали по рюмке домашнего вина, играли в шахматы. Словом — дружили, хотя порой и жили в разных уголках Видземе.

Война оборвала их дружбу. Еще в Валке Эйжен узнал, что и Юлис Спалвиньш и Янис Эглитис арестованы. Но куда их забросила фашистская неволя — не мог знать, хотя часто вспоминал о них.

И вот они дали весть о себе...

Последнюю весть!

На короткое время Эйжена и некоторых других заключенных перевели в Смилтенскую тюрьму.

Днем заключенные грузили лес в вагоны узкоколейки, а ночью их запирали в тюремных камерах — сырых, холодных, вонявших плесенью.

В одну из ночей — бессонных от постоянного голода и усталости, бесконечных от мыслей — Эйжен лежал на гнилой соломе и всматривался в потолок, на котором сумрачно отсвечивалась оконная решетка.

Тяжело дышали во сне люди, изредка вскрикивая.

Вдруг Эйжен увидел, как темная фигура поднялась с нар, неслышной тенью проскользила по проходу, опустилась на колени у противоположной стены и начала размеренно кланяться.

Человек молился. Молился истово, уставившись в серо-грязную стену камеры так, будто там была священнойшая из икон. Прислушавшись, Эйжен разобрал русские слова молитвы:

— Обратись, господи! Избавь душу мою, спаси меня ради милости твоей, ибо в смерти нет памятования о тебе. Во гробе кто будет славить тебя!..

Безнадежный голос в безнадежной ночи!

Эта униженно склоненная фигура, безысходное обращение к богу — далекому и чуждому страшным земным делам — вызвали в Эйжене желание чем-то помочь отчаявшемуся человеку. Но что он мог сделать? Разве сам Эйжен порой не переживал такой же вот усталой отрешенности, разве с его уст не готовы были слететь слова мольбы ко всем богам сразу? Разве он, проклявший бога на подступах к Пулеметной горке, не готов был уверовать вновь только для того, чтобы... Нет! Нет! Никаких богов! Он не унижится до бога. Никогда!

— Во гробе кто будет славить тебя! — снова донеслось до Эйжена.

Он поднялся, подошел к молящемуся и встал рядом с ним на колени.

— Простите, что нарушаю вашу молитву, — шепотом сказал Эйжен. — Но может быть, я могу...

— Кто, ты? Червь ползучий... Только бог все-

держащий и всемогущий спасет нас. О том и молю его денно и ночью.

— Но ведь...

— Молчи! Молчи! — Два испуганных глаза осуждающе смотрели на Эйжена из темноты.

— Не нарушай молитвы суетными словесами.

Эйжен поднялся и, чтобы хоть как-то оборвать окружающую темень, наполненную страхом и безысходностью, чиркнул спичкой. В дрожащем свете увидел преклоненную фигуру человека с большой головой на тонкой птичьей шее. Голова почти до бровей обросла седеющей бородой и от этого казалась еще больше.

— Чего надо? — совсем земным уже голосом спросил человек и неприязненно покосился на Эйжена.

— Простите, — Эйжен клял себя, что вмешался в молитву старообрядца.

Спичка догорала. И тут, в последнем ее мерцании, Эйжен вдруг увидел, что на стене, к которой обращался молящийся, нацарапаны какие-то слова. Спичка погасла, и он не успел прочесть.

... Но они почему-то заинтересовали его. Не раздумывая, зажег новую — последнюю в коробке, — поднес ее к стене и прочел:

«Это наша последняя ночь.

Ю. Спалвиньш

Я. Эглитис».

— Это наша последняя ночь, — перевел он надпись на русский язык.

— Кто это? — заинтересовался бородач.

— Мои друзья... Мои хорошие друзья.

— Успокой, господи, их душу! — перекрестился бородач и отвесил низкий поклон.

— Спасибо вам, — прошептал Эйжен, чувствуя, как к горлу подступает комок. — Спасибо!..

— За что?

— За то, что вы помогли мне найти их... старых друзей.

Юлий Спалвиньш...

Янис Эглитис...

Их именами Эйжен начнет нескончаемый список друзей, ставших жертвами фашизма.

Время, жестокое время, в котором он жил, постоянно станет дополнять этот безмолвно-длинный список. В конце его станет имя Героя Советского Союза полковника Льва Маневича — Старостина...

Начатый под свистящий шепот униженной молитвы старообрядца список этот в поэтическом сознании Эйжена преобразуется в величественный реквием по людям, воплотившим свою главную сущность в борьбе...

В борьбе Огня и Ночи.

3

Весна сорок третьего года...

Ранняя и удивительно теплая, она дышала на Эйжена голубоглазым ветром, сверкала брызгами изумрудных дождей, щурилась солнечными бликами речушек и озер.

Весну сорок третьего года он встретил на пути из Валмиеры в...

Они не знали, куда мчался этот старенький грузовичок. Процесс расчеловечивания, усиленно проводившийся фашистами-немцами и фашистами-латышами, помимо массовых и индивидуальных смертей, будничных мук и унижений родил и изощренную пытку — пытку неизвестностью. Превращаемый в раба человек не мог, не должен знать будущего. Ни ближайшего — на час или день, ни отдаленного — на неделю или месяц.

Расчеловечивание требовало неизвестности. Оно питалось им и питало его...

То, что грузовик вез их из Валмиеры, было фактом...

А где он сделает остановку и что произойдет на этой остановке...

!!!

Будет ли конец неизвестности?

Будет ли остановка!

Неизвестностью стал Саласпилс...
Остановкой — Саласпилс...
Третья остановка после Валки и Валмиеры.
Третья...
Надолго ли?
Может быть — навсегда.
Навсегда — как в вечность...
Остановка в вечности!
Саласпилс — вечность...

АВТОР — ЭЙЖЕНУ ВЕВЕРИСУ

Что сказать мне о Саласпилсе, Эйжен?

О нем написано очень много. Написано самими узниками — оставшимися в живых свидетелями фашистских злодеяний. Рассказать больше, чем они, — я не могу. Мне не по силам поднять тот груз, который ты, Эйжен, и другие заключенные несли на своих плечах в то время и который остался с вами на всю жизнь...

Много раз я начинал эту часть баллады и чувствовал — получается холодно, тускло, безлико. Очевидно, у меня не хватало слов и мыслей, чтобы охватить ими все безбрежное поле Саласпилса — поле, на котором погибло свыше ста тысяч человек. Ведь даже статистика — статистика смерти и нечеловеческих мучений — перестала отражать суть происходившего и в Саласпилсе, и в Освенциме, и в Бухенвальде, и в Маутхаузене. В самом деле, когда не раз, не два читаешь о сотне тысяч или миллионе убитых в фашистских концлагерях, перестаешь чувствовать за этими смертями бие-ние жизни — бывшей жизни бывших людей. Мы просто не в состоянии вообразить миллион трупов! Для того чтобы их увидеть из сегодняшнего дня, надо было видеть их в днях прошедших.

Я попытался увидеть своими глазами то, что ты видел и в Саласпилсе и в других лагерях. Целых две недели, с утра до вечера, в Московском кино-фотоархиве я смотрел документальные кадры,

заснятые и самими палачами и будущими их обвинителями на Нюрнбергском процессе в различных «кацетах» Европы. . . Я приехал домой потрясенный и больной. Нормальная психика не в состоянии воспринять эти кинодокументы. Знаешь, что потрясло меня больше всего! Обезличенность, одинаковость смерти!

В любом из фашистских лагерей смерть человека была низведена до однообразно-механического действия, поставленного на промышленную основу. Как много значения в ставшем, к сожалению, шаблонном определении: «фабрика смерти»!

«Фабрикой смерти» был и Саласпилс.

Как мне рассказать о Саласпилсе, Эйжен!

Начать ли с истории его возникновения — с темных дней конца 1941 года, когда в лагерь прибыли первые заключенные из Германии, Австрии, Чехословакии и Польши, — и проследить все стадии его развития вплоть до 29 сентября 1944 года, когда исчез, словно бы растворился в дыме, последний его охранник? Или описать, как лагерная повседневность целой системой придуманных фашистами специальных мер должна была убить в человеке человека? Помнишь, Эйжен, ты рассказывал мне, как вас кормили облитой нефтью картошкой! Как давили на вас пятиярусные нары-пещеры, на которых вы проводили ночи без сна, ночи кошмаров! Как грызли вас клопы и блохи! Как дубинка помощника коменданта Теккемейера подстерегала вас за любым углом барака! Помнишь, Эйжен! . .

Ты помнишь все!

Помнишь виселицу, которая никогда не пустовала. . .

Помнишь сторожевую башню, свысока глядевшую на вас дулами пулеметов. . .

Помнишь овчарку Ральфа, готовую вцепиться в живое человеческое тело по мановению руки хозяина — коменданта лагеря Курта Краузе. . .

Помнишь смерть своего товарища Лайцена в штрафной команде. . .

Помнишь пьяную ухмылку старосты Альберта

Видужа — «вечного студента», ставшего вечным убийцей...

И, конечно же, ты помнишь смрадный дым поздней осени сорок третьего года — дым от сжигаемых трупов...

Я знаю, Эйжен, ты ничего не забыл!

Потому что забыть — значит, простить.

Потому что забыть погибших — значит, предать живых.

Ты ничего не забыл, Эйжен! Груз, который ты нес тогда на плечах, остался на них и сейчас. И ты его не сбросишь, нет!

Так что же мне рассказать о Саласпилсе, Эйжен!

Я ведь пишу не историю лагеря, а балладу о твоей жизни. Значит, думаю я, из шести месяцев, проведенных тобой в Саласпилсе, надо выбрать такие дни и ночи (а может быть, мгновения!), которые ты считаешь самыми важными, самыми... А где критерий, которым я смог бы измерить неизмеримое! Где он, Эйжен!

Может быть, тот критерий — ненависть! Незатухающая и вечная ненависть к смерти и палачам. Но одной ненависти мало, чтобы сказать правду...

Ненавистью не измеришь пески Саласпилса, в которых погребены жертвы фашизма.

Возьмем тогда чувства, противоположные ненависти — доброту и любовь. Ведь ими можно измерить все, включая историю. Возьмем эти чувства, Эйжен, и вернемся туда, где сейчас высятся бетонные громады мемориала, возведенного живущими в память о павших...

Ненавистью, добротой и любовью вырвем из прошлого твоего, Эйжен, самое незабываемое...

«Саласпилсская карусель»...

Чья садистская изощренная фантазия придумала эту пытку!

Может быть, сам комендант Курт Краузе додумался до нее в тихие вечерние минуты, когда

после чашки отменного кофе на него находило блаженно-созерцательное состояние.

Или помощник коменданта Теккемейер, посасывая трубку, сообразил, что такой «новинкой» он обратит на себя благосклонное внимание начальства...

Впрочем, автором «карусели» скорее всего был начальник строительства лагеря Магнус Качеровский, которому покровительствовал сам начальник гестапо и СД в Латвии Ланге.

Как бы там ни было, «карусель» действовала. Действовала от зари до зари. И чем длиннее был летний день, тем дольше продолжалась «карусель».

Каждой паре из сотен и сотен узников выдавались носилки. Люди выстраивались в длинную цепь...

Две наклоненные вертикали — два человека. Между ними — горизонтально — носилки...

Бесчисленные «н»...

Однообразные «н»...

Безликие «н»...

Пронзительный свисток и...

И «карусель» начинала вертеться.

О, это была веселая карусель! Как на ярмарке где-нибудь в Мекленбурге. Даже еще веселее, потому что там по кругу носились деревянные лошадки или слоники, а тут бегали живые существа.

В одном конце лагеря на носилки сыпалась земля...

На другом — ссыпалась.

Все предельно просто — получил порцию земли и отправляйся в путь.

Рысцой, рысцой...

Ходить шагом не полагается. Только бегом!

Ходить могут только штрафники. Их бег — это уже попытка к бегству. А за это полагается пуля или виселица.

На «карусели» — только бегом, рысцой.

У тебя нет сил бежать!

Тогда: «Лечь!» «Встать!» «Лечь!» «Встать!»

И бегом!

На бегу каждое «н» получает порцию земли...

Бегом пробегает полукружие и на бегу высыпает землю...

Второе полукружие — снова бегом.

Очередная порция земли — и все повторяется.

Карусель потому и называется каруселью, что в ней все повторяется.

Повторяется вереск по обеим сторонам дороги — «карусели», ведущей в никуда...

Повторяются бараки...

Комендатура...

Виселица.

А в центре — башня с пулеметами.

Она-то и приводит в движение «карусель».

Все вертится вокруг нее.

Все!

И бесчисленные «н»...

И свист плети...

И команда: «Быстрее! Быстрее! Быстрее!»

Все вертится!

Земля...

Небо...

Жизнь!

Сколько кругов в Дантовом аду! Девять.

Здесь их было сто, двести раз по девять.

Эйжен пробовал считать, сколько раз за один день они обегали вокруг лагеря. Но сбивался на четвертом или пятом круге: не хватало сил считать. Внимание рассеивалось, мысли ускользали.

«Карусель» выматывала не только физически. Она должна была лишить человека мыслей, превратить его в тупое и равнодушное существо.

Должна была!

Но не лишила...

Не превратила!

Даже в «карусели» человек оставался человеком.

Каждый час, каждый день Эйжен видел, как люди сопротивлялись, как позывные мучений и горя шли от человека к человеку и рождали единение дружбы, участия, взаимопомощи. Эти

позывные улавливал и его чуткий слух. Они накапливались в нем, чтобы со временем вылиться в строки стихов:

Мы — вечного братства людского гранит.
Гранит наши муки и кровь сохранит.

Вертелась «карусель»...

Из завтрашнего во вчерашнее вертелись числа
дней.

Вертелась...

Вертелась...

Вертелась «карусель».

В иные дни вместо носилок с землей на плечи
узников взваливали мешки с цементом.

До обеда их носили в одном направлении...

После обеда — в обратном.

Тупо и бессмысленно...

Бессмысленно и тупо.

Светило солнце...

Лились дожди...

Плыли туманы...

Журчал фонтан возле комендатуры...

Вертелась «карусель»!

Вечером, когда лагерь затихал, когда позади
уже были...

И нескончаемый бег «карусели»...

И крики истязуемых...

И медленное качание очередной жертвы в
петле...

И бесконечные: «Лечь!», «Встать!», «Лечь!»,
«Встать!»...

Когда позади был очередной лагерный день —
нескончаемый, но все же кончившийся, — люди
долго не могли уснуть.

Эти вечера и ночи...

Они были очень дороги и Эйжену, и каждому
обитателю бараков. Дороги тем, что воскрешали в
человеке человечность, будили в нем мысль и
действие.

Вечерами и ночами залечивались дневные
раны. Залечивались не сами собой и не лекарст-
вами — их почти не было — а добрым словом,

добрым чувством, бившими из неисчерпаемых артезианских колодцев человеческих душ.

Невидимыми повязками перевязывались раны...

Неощутимым прикосновением пальцев ослабевали натянутые струны-нервы...

Сегодня я помог тебе...

Завтра — ты поможешь мне.

Происходила непрерывная взаимоотдача человечности. Она стала законом, таким же непреложным, как восход солнца. Она помогала жить и бороться.

Да, бороться!

Вечерами из уст в уста передавались вести о смельчаках, вступивших в рукопашную с палачами под дулами автоматов у вырытой могилы. Как пароль в жизнь, в будущее звучали имена погибших, но несломленных:

Арвид Вендениек...

Янис Логин...

Карлис Фельдманис...

Янис Погулис...

Нина Быкова...

Арвид Виксна...

Фрицис Стурис...

Трифиллий Лакомка...

Янис Атвар...

Волдемар Хинер...

Александр Яблонский...

Язеп Канепе...

Геновефа Опинцан...

Миервалд Декснис...

Подобно горьковскому Данко, они пламенем своих сердец освещали людям путь из ада.

В один ряд с ними Эйжен поставит и имя своего друга Арнольда З. — бывшего бухгалтера, спокойного и выдержанного человека. С ним он прошел через подвал Валкского полицейского участка, через молчание Валмиерской тюрьмы. Казалось, ничто не могло сломить Арнольда — ни «карусель», ни вечное голодание, ни болезнь сердца...

Вечерами узники вспоминали родной дом, близких людей. Гадали — как они там! Как живут и живы ли вообще... Эйжен почти ничего не знал о своей семье. Не знал, что «новый порядок» раскидает ее по всей Латвии, оторвет мать от детей, а детей — от матери. Но он, как и все саласпилсцы, верил и надеялся, что вернется и увидит еще и...

И Алму...

И Гунара...

И Дайлу...

И Ольгерта...

И Лауму...

И Вилниса.

Точно так же верил и надеялся Арнольд З. Он знал — его ждут любимая жена и любимая дочурка. Иначе — зачем жить, зачем идти и идти по этим пескам, не оставляющим следов.

Но однажды в лагерь прибыла партия новых заключенных. Среди них был валкский почтальон. Как и водится, его начали расспрашивать о новостях с воли... В числе прочих бывший почтальон сообщил и такую: жена Арнольда З. сошлась с другим и даже заставляет свою дочь называть его папой.

Эйжен увидел, как после этих слов конвульсивно вытянулся Арнольд, как по его телу пробежала дрожь... Никакие успокоительные слова не действовали на него. Человек в один миг потерял главное, что помогало ему жить, и поэтому перестал бороться.

На следующее утро Арнольда вместе со всеми погнали на работу. Он не мог ходить, и товарищи вынесли его на руках. Посадили в тени барака, надеясь, что...

Эсэсовец, дежуривший на вышке, увидел его в бинокль. Расправа была короткой: десять ударов резиновой дубинкой («гуммой») и...

И точка!

Заключительная точка жизни.

... Через двадцать лет, во время очередной

встречи на земле Саласпилса, к Эйжену подойдет девушка и спросит, не знал ли он Арнольда З.

И Эйжен прочтет в глазах дочери то, что не раз читал в глазах друга — великую скорбь и великую любовь...

Настоящая его фамилия была Кандер...

Но заключенные звали его Кангаром*. И этот выродок заслужил свою кличку. Мрачный, вечно погруженный в свои мысли, которых никто не знал, он появлялся на территории лагеря и исподлобья глядел на вертящуюся в диком трансе «карусель».

Глядел долго, словно бы ощупывая бесцветными глазами каждую фигуру узника. Он никогда не кричал, никогда никого публично не истязал. Просто стоял на плацу или в проходе между бараками и молчал...

Потом исчезал. Так же незаметно как появлялся.

А через какое-то время охранники волокли в комендатуру очередную жертву. Каким путем чиновник по особым поручениям Кандер-Кангар добивался от невинного признания вины — никто не знал. Потому что редко кто выходил из его лап живым.

Десять ударов гуммой — обычное наказание. Его выдерживали далеко не все.

Кангар присуждал свою жертву к ста ударам. Их не выдерживал никто.

К ста ударам Кангар приговорил старшего лагерного повара. Приговорил за то, что бывая в Риге по служебным делам (под охраной, разумеется!), тот ухитрялся передавать на волю весточки от узников. Кангар выследил повара и...

И сто ударов — один за другим, точно по счету — обрушились на несчастного...

Эйжен увидел повара в бараке, принес напиток.

* Кангар — персонаж драмы Я. Райниса «Огонь и Ночь», олицетворяющий злобу и предательство.

Это был не человек... Живое кровоточащее мясо... И глаза, в которых уже не было ни боли, ни муки — одно желание — умереть!

— Ребята! — шептал он, когда на короткий миг обретал сознание. — Попросите этих гадов, чтобы пристрелили меня... Пристрелите меня...

Он хотел смерти!

Эйжен не выдержал — побежал к ближайшему охраннику.

— Послушайте, — сказал он ему по-немецки, — вы же человек! Застрелите повара... Он очень мучается. Помогите ему умереть.

— Я не убийца! Пусть умрет сам!

И это говорил эсэсовец, только вчера отправивший на тот свет выбившегося из сил профессора зоологии!

Повар умер на третий день...

И в Саласпилсе, и в других лагерях, где ему доведется быть и где были свои кангары, Эйжен спрашивал себя: что толкает их на жестокость? Патологическая ненависть к людям? Приказы начальства! Или же правы те философы, которые твердили, что человек по натуре зол, кровожаден?

Нет, скажет он себе, человеческая природа тут не при чем. От молока матери, от шепота сосен, от солнца и людских улыбок каждый человек получает такую колоссальную дозу доброты, которой хватило бы не на одну жизнь. Дело в социальной среде, в социальной системе, воспитывающей человека. Если они толкают человека в бездну жестокости, то извечная человеческая доброта обращается в зло. Фашизм сделал злодейство, садизм составной частью своей официальной «этики», обычной служебной обязанностью и даже источником дохода.

Всевозможные кангары были олицетворением этой «этики».

Кангары олицетворяли собой ночь. Они, вспоминал Эйжен Райниса, готовы были «борцов за волю бить, терзать, пытаться...», «цепями рабства всех людей сковать...», «свободный дух везде во

всем попать...», «живую душу мучить, жечь, ломать...».

Будет ли конец ночи, где царствовали кангары!

Когда...

Когда...

Когда он наступит!

Конец Кандера-Кангара наступил летом сорок третьего года.

Однажды вблизи саласпилсской железнодорожной станции задержали трех «подозрительных». Кто-то из лагерных службистов предположил, что это «красные парашютисты». Начальство всполошилось. А вдруг... Особенно этот — высокий. Ишь как усмехается! Стреляная, видать, птичка...

— Кандер! Займитесь ими! — приказал комендант. — Через час доложите.

Но уже через десять минут в кабинете Кандера раздался выстрел.

Потом второй...

Еще мгновение... И на лестницу комендатуры выбежал высокий мужчина с пистолетом в руке. Целится в самого коменданта! Сейчас! Сейчас будет убит убийца!..

Нет! Пистолет отказал!

Отказал в самую нужную из нужных минут!

Но перед тем как на него набросились эсэсовцы, высокий незнакомец успел увидеть...

Успел увидеть, быть может, самое главное в своей жизни — животный страх своих врагов.

Дикий, унижительный страх палачей.

Этот страх увидели и немногие заключенные, присутствовавшие при этой сцене. Они расскажут об этом своим товарищам.

Палачи боялись!

Палачи — трусы!

И каждый, кого коснется эта весть, почувствует прилив сил. Почувствует, что еще не все кончено в этой стремительно вертящейся «карусели», что гибель одного может пробудить к жизни сотни сердец.

Никто так и не узнает имени высокого незнакомца, погибшего в неравной схватке.

Но все запомнят Человека, убившего Кангара.
Человека, победившего смерть!

... В далеком «когда-то» Эйжен напишет стихотворение «Самый сильный из нас». В нем он не упомянет высокого незнакомца, сразившего Кангара.

Но оно будет посвящено и ему...

Как лошадей, их запрягли в телегу. Как лошадей, их понукали:

— Но! Но! Живей, старые клячи! Живей!

Стоял дивный летний день. Пели в небе жаворонки. Лежали на земле солнечные пятна...

— Живей, старые клячи!

Крутились спицы колес, наворачивая метры и километры дороги — дороги на железнодорожную станцию Саласпилс.

Мимо соснячка...

Мимо торфяника...

Мимо желтого песочка, засыпавшего расстрелянных вчерашней ночью поляков...

Катились, скрипели колеса.

— Но! Живей, старые клячи! — орали охранники.

Эйжен шел в паре с Василием Кумачевым. Обычно веселый и разговорчивый, не терявший бодрости даже после отчаянного бега «карусели», Василий был сегодня хмурый и вялый. «Не может прийти в себя после вчерашнего», — догадался Эйжен.

Вчера они вместе зашли в лагерную больницу навестить заболевшего товарища. Санитар Петр Вигант рассказал, что накануне лагерное начальство приказало забрать из больницы все лекарства — «для фронта». Теперь лечить нечем...

Отчаяние было и на лицах больных. Понимали: что мог сделать доктор Бдил, если его аптечка пуста...

Но он все-таки делал, этот славный доктор...

Как много он делал!

Эйжен с Василием видели, как, переходя от больного к больному, врач что-то говорил, улыбался. Даже смеялся!

И люди, отчаявшиеся в своем горе, обессиленные болезнью, тоже начинали улыбаться.

В который уже раз Эйжен был свидетелем чуда. Чуда исцеления — пусть временного, неустойчивого — но исцеления.

Доктор Бдил отдавал людям самое ценное, что имел, — добрую улыбку и добрые слова.

А еще он отдал им музыку...

Окончив обход, врач принес скрипку. На ней когда-то играл молодой музыкант. Перед расстрелом он подарил врачу свой инструмент.

Сейчас он пел в руках врача...

Пел веселые танцы Брамса...

«Кампанеллу» Паганини...

Вторую рапсодию Листа...

Эйжену показалось, что он никогда не слышал лучшего исполнения.

Нет, не доктор Бдил ласкал смычком струны старенькой скрипки! Это его руками, его чувствами касались струн все лучшие музыканты, когда-либо жившие на земле. Это они принесли в больничный барак щедрые свои таланты и осветили ими мрак.

И никто не услышал, как скрипнула дверь...

Как крадущейся походкой к доктору подошел ротенфюрер Теккемейер...

Он выхватил из рук врача скрипку и несильным ударом разбил ее о печку.

Чтобы разбить скрипку...

Силы не нужно!

Совсем не нужно!

... Катилась по дороге на станцию повозка.

— Но! Но! Старые клячи!

Застыла грусть в глазах Василия Кумачева.

— Ничего, Вася, мы еще послушаем скрипки, — попытался ободрить его Эйжен.

— Такой — не услышим. Никогда! — словно провел грань между прошлым и будущим Василий.

Неподалеку от станции запряженные в повозку

узники встретили огромную колонну людей. Под охраной автоматчиков-эсэсовцев и собак шли...

Старики...

Женщины...

Дети...

Шли, перепутав ряды.

Шли, поддерживая друг друга. Негромко переговаривались.

Эйжен услышал немецкую речь. По вскользь брошенным словам понял: это были родственники немецких антифашистов, немецких коммунистов, чьи головы уже упали с плеч под ударами «древнегерманского топора»...

Остановилась повозка, пропуская колонну обреченных. Саласпилсцы обнажили головы перед...

Стариками...

Женщинами...

Детьми...

Идущими в свой последний путь.

Эйжен уже знал: такие колонны, чуть ли не ежедневно прибывающие в Саласпилс, никогда не доходят до лагеря.

Никогда!

Их заводят в лес, заставляют раздеться догола и...

И, скошенные пулями, упадут в песок...

Старики...

Женщины...

Дети.

Будет ли кто-нибудь знать, что эти люди жили на земле?

Будут ли будущие поколения знать, что в пронизанных солнцем сосновых рощицах вокруг Саласпилса ушли в вечность...

И подрастающие Шиллеры...

И неродившиеся Тельманы...

И возможные Моцарты...

И будущие Либкнехты...

Будут ли знать, что этим веснушчатым мальчуганам никогда не суждено стать мужчинами...

А этим девочкам с желтыми стебельками косичек — женщинами.

Будут ли знать!..

На станции повозку нагроузили вещами пригнанных к расстрелу людей.

Снова катилась телега.

— Но! Но! Старые клячи!

«Старые клячи» везли чемоданы, узлы и сундуки людей, идущих навстречу смерти.

У ближнего лесочка догнали старуху-немку с двумя мальчиками.

— Курт, — уговаривала она старшего мальчика, — возьми Хорста на руки. Иначе мы никогда не догоним своих...

— Я устал, бабушка.

А маленький Хорст капризничал. Ему не хотелось все время идти и идти. Ему хотелось играть...

— Хорст, дорогой, — бабушка гладила его по головке, — потерпи немного. Мы скоро придем, сварим овощной супчик...

— Не хочу супчика! — не унимался малыш. — Хочу ягодок. Пойдем в лесок... Вон в тот лесок. Там ягодки.

— Хорошо, хорошо...

Старуха говорила обычные, бабушкины слова. У Эйжена защемило горло. Если бы эта женщина знала, куда она толкала сейчас своих внучат!

Если бы знала!..

Эйжену хотелось крикнуть: бегите! Бегите, не оглядываясь! Но как крикнешь, когда рядом — ствол автомата, когда...

Когда из леса выходит сухопарый эсэсовец-офицер. Куда могут скрыться эти несчастные, если кругом — фуражки с высокими тульями и кокардами-черепами!

Куда уйдешь из мира ночи!

— Бедная бабушка, — улыбнулся офицер, — она совсем выбилась из сил. Давайте я вам помогу. — Он нагнулся к малышу. — Тебя как зовут?

— Хорст.

— О, Хорст! Какое славное имя! Ты знаешь песню о Хорсте Весселе, Хорст! Нет! Я тебя научу.

И, подхватив ребенка на руки, запел:

Die Fahne hoch,
Die Reien fest geschlossen,
SA marschier...

Застыли, выбросив руки в фашистском приветствии охранники. Остановились и узники. Умиленными глазами смотрела бабушка на маленького Хорста, сидевшего на руках офицера... Когда «партийный гимн» окончился, она сказала, расцветая улыбкой:

— Вы очень хороший человек, господин офицер. Так любите детей...

— Да, дети — моя слабость... Давайте я вас провожу.

— Вот в тот лесок. Там ягодки. Я хочу ягодок.

— Хорошо, хорошо, малыш. Мы пойдем в лес, — офицер обворожительно улыбнулся, — и угостим тебя ягодками. Дадим тебе много-много ягодок...

И они пошли.

Впереди — офицер с Хорстом...

За ним — бабушка и Курт.

Тронулась с места и повозка.

— Но! Но! Старые клячи!

Вдруг позади, в том лесочке, где только что скрылись офицер, старая женщина и двое мальчуганов, раздались выстрелы...

Три...

Сухих...

Пистолетных...

Маленький немецкий мальчик по имени Хорст получил свою «ягодку»...

И сразу же за этими выстрелами в глубине леса послышались беспорядочные автоматные очереди. Это уходили в небытие немецкие...

Дети...

Женщины...

Старики...

Это разбивали скрипки всечеловеческих Страдивари...

А ночью шепот:

— Я не могу больше, Василий! Давай бежать. В следующий раз, когда пошлют на станцию... Давай, Василий...

— Куда? Куда мы убежим, Эйжен!

— Хотя бы в Лапмежциемс. У меня там знакомые рыбаки. Спрячут... Уйдем в партизаны... Дождемся своих...

— А что будет с твоими детьми, с женой? Их же сразу прикончат.

— Тогда беги один. Я помогу, отвлеку охрану...

— Нет, Эйжен. Без тебя я не уйду.

— Но почему? Почему!

— Лучше не спрашивай...

Сколько уже было таких ночных шепотов!

Сколько раз они строили планы побега!

И там — в Валмиере. И здесь — в Саласпилсе...

Но планам этим не суждено было сбыться. Не из-за страха смерти, нет. Бывали дни вроде вчерашнего, когда и смерть — не смерть; когда голыми руками готовы были порвать колючую проволоку и уйти на волю или...

Или получить вдогонку пулю.



Эйжена держали в лагере не только автоматы охранников. Знал, твердо знал по опыту других: даже попытка к бегству приведет к гибели и жены его и детей.

Мог ли он, спасая себя, поставить под эсэсовские пули всю свою семью?

Нет!

Василий же...

Во время первых месяцев заключения он мог, обманув охрану, уйти в лес к курземским или

видземским партизанам. Мог, если бы... Если бы не осколки в ногах, если бы не контузия, от которой все еще звенело в ушах, а сильное тело сводили мучительные судороги.

Потом, когда зажили раны, Василий не мог оставить в беде товарищей, которым был нужен и которые нужны были ему самому. Честно говоря пугало и то, что после его побега расстреляли бы или замучили до смерти ближайших соседей по нарам.

Не мог вырваться из этой ночи, исход которой уже светился на востоке.

В то лето и в ту осень сорок третьего года до узников все чаще и чаще доходили вести с фронта.

Их приносили новички...

Их вычитывали в междустрочиях фашистских газет, нет-нет да попадавших в руки заключенных...

Их безошибочно узнавали по поведению охранников и прихлебателей лагерного начальства. Как только фронтовые дела Гитлера портились, — чуть-чуть смягчался режим, заискивающе начинали вертеть хвостами нуды.

Таким путем узнали о разгроме фашистов под Сталинградом и прорыве ленинградской блокады...

Таким же путем в Саласпилс пришли вести о поражении гитлеровцев под Орлом и Курском...

О начавшемся освобождении Белоруссии и Украины...

В день празднования 26-й годовщины Октября узнали о взятии нашими войсками Киева...

Ждали...

Ждали...

Ждали вестей с фронта.

Знали — только Советская Армия принесет освобождение.

Чутким ухом вслушивались — не раздастся ли в ночи долгожданная канонада нашей артиллерии...

Но так и не услышали...
Пятого декабря сорок третьего года...
Две тысячи заключенных Саласпилса погрузили в вагоны и повезли в...
Повезли в неизвестность.

4

Шестьдесят человек в одном вагоне...
Шестьдесят — в другом.
Целый эшелон однообразных вагонов.
Стучат колеса на стыках.
А в ушах Эйжена — совсем другой стук: огромными гвоздищами охранники заколачивают двери с четко выведенными под шаблон буквами «RU» — «Rückkehr unerwünscht!» («Возвращение нежелательно»).

Возвращение нежелательно!
Мчатся в неизвестность вагоны-гробы...
Мчатся гробы-вагоны.
Вьются по земле черные космы дыма. Скоро, очень скоро они сольются с дымом крематориев.
Возвращение нежелательно!
Возвращение в жизнь...
В свет...
В радость...
Нежелательно!
В том грузовике, мчавшемся на Седаскалнс, их было...

Четырнадцать...
Пятнадцать...
Восемь...
Четырнадцать.
В Иршупарке их было сто раз по десять...
В Саласпилсе — сто раз по тысяче...
Амплитуда маятника смерти становилась все шире!

Сейчас их было шестьдесят в одном вагоне...
А сколько было вагонов?
Сколько таких эшелонов уже ушло!
И сколько уйдет!
Уйдет туда, откуда «возвращение нежелательно».

Это знали только разного ранга «фюреры», но не знали смертники.

Они видели узкую полосу горизонта, побеленную хлопьями снега... Они пили этот снег, ловя его на ходу ладонями, кружками, котелками...

Видели самих себя в непривычно штатской одежке, сохранившейся, как оказалось, в лагерных каптерках.

И эта одежда, висевшая на узниках как на вешалках, навела их на мысль о побеге. В полосатых брюках и куртке, в шапчонке заключенного далеко не уйдешь... В пальто и брюках... Можно попробовать.

Надо попробовать! Надо!

Кто из шестидесяти первым принялся долбить грязные доски вагонного пола — Эйжен не знал. Но не так-то просто расщепить хотя бы одну доску, прибитую ржавыми гвоздями... Хотя бы какой-нибудь инструмент! Пустили в ход дужки от котелков, сплюснутые алюминиевые кружки.

Одна доска как будто шевельнулась...

У валмиерца Петериса Юнга оказался нож. Самодельный, хрупкий.

Торопились узники — кто знает, куда прибудет поезд через полчаса или час... Скорее, скорее!

Нож сломался...

Стали орудовать осколками.

Оторвать хотя бы одну доску! Соседние можно будет вырвать голыми руками. Когда много рук — все под силу!

Эйжен уже мысленно видел себя пролезающим в узкий люк, падающим на запорошенные шпалы... Только бы изловчиться и не попасть под колеса. Прильнуть к полотну и выждать, пока над тобой, громяхая, не пронесутся вагоны... Он уже видел последний вагон с красным фонарем на тормозной площадке. Растаял во мгле красный огонек... Свобода!

Но нет, ломаются последние остатки ножа, а доска неколебима.

Проклятая доска!

Проклятая случайность, ты как злой рок легла
между свободой и смертью.

Проклятая доска!

Ее крошили ногтями, загоняя в пальцы жгучие
занозы.

Ее топтали каблуками...

В нее готовы были вгрызться зубами!

Проклятая доска!

Прок...

Замедлил свой бег поезд...

Остановился.

Побег не удался!

С визгом раздвинулись двери.

— Вылезай! Быстрее!

Перед вагонами — хаотическое нагромождение
дров. В разные стороны ошетинились еловые, сос-
новые, березовые, ольховые обрубки.

— Быстрее! Быстрее!

Люди падают, ломают руки и ноги.

— Быстрее!

Тех, кто не поднимается из этого древесно-
людского месива, навсегда пригвозждают пулями.

— Быстрее! Быстрее! Строиться!

Криками и выстрелами охранников их встретил
Штутгоф.

По рядам выстроившихся узников пронеслась
весть: шестой вагон пуст.

Шестой вагон бежал!

Пятьдесят восемь человек из шестого вагона
выломали доски в полу и ушли. Счастливы!

Два трупа доставил шестой вагон в Штутгоф.

Два человека-скелета лежали на краю люка,
через который ушли остальные. Два сердца сго-
рели, чтобы не дать погаснуть другим сердцам.

— Живем, братцы! Не все еще потеряно в
этом лучшем из миров! Живем!

«Специальностью» Саласпилса была «кару-
сель»...

«Специальностью» Штутгофа был холод.

Открытый всем балтийским ветрам, лагерь вечно дрожал в холодном ознобе. И в густую ночь, когда над бараками всхлипывали продрогшие сосны. И среди долгого дня, когда по крышам сторожевых вышек и крематория, по плацам и дорогам мела пороша...

Холод преследовал Эйжена и всех бывших саласпилсцев с первой до последней минуты их пребывания в Штутгофе.

Вновь прибывших построили перед баней. Заставили раздеться догола и сдать одежду... Потянулись длинные часы ожидания. Душ вмещал десять человек. Помыться должны были почти две тысячи...

Это была любимая пытка штутгофского начальства. Она ничего не стоила рейху — ни пфеннинга! Сам Герман Гиммлер, приезжавший в лагерь в ноябре сорок первого года, говорят, одобрил инициативу тогдашнего коменданта штурмбанфюрера Макса Паули, предложившего холод в качестве «лечения» от всяческих политических заболеваний, преимущественно красных. С тех пор пытка холодом передавалась по наследству от одного коменданта к другому.

В жаркие летние дни холод заменяли голодом и истязаниями. Но саласпилсцы не дождутся тех дней, часть из них погибнет от холода уже в первые часы пребывания в Штутгофе, другая попадет в крематорий «за нерадивость», а оставшихся в живых отправят умирать в Маутхаузен... Но это будет позже.

... Они стояли на плацу перед баней и дрожали. Нет, у них не было сил, чтобы дрожать. Эйжен чувствовал, как его ноги примерзают к земле, как немеют пальцы рук, как в стылом оцепенении все глуше и глуше бьется сердце. Шесть градусов мороза в нормальной жизни — пустяк. Но те же шесть — на ветру, без одежды — смерть.

В помутившемся сознании Эйжена явь мешалась с бредом. То он с внезапной отчетливостью видел двух девочек, расстрелянных в Иршупарке,

но они оказывались его дочками — Лаумой и Дайлой — и он коротко вскрикивал, приходил в себя и тер одеревенелыми руками деревенеющую грудь... Потом ему слышалось — за воем ветра, за отголосками чьих-то неземных голосов, — как на ярославском рейде басовито переговариваются пароходы... А вот и Райнис! Он смотрел на него глазами, в которых лилово светилась усталость. «Здрав... Здравствуйте!» — хотелось крикнуть Эйжену. Но губы, смерзшиеся и чужие, не открывались. «Как же так, — мгновенно пронзала горькая мысль. — Я не могу поздороваться с Райнисом. Он пришел ко мне сюда, в лагерь, а я... а я...» И вдруг вместо Райниса увидел Васю Кумачева — синюшного, с выпукло-ребристой грудью и точно такими как у Райниса глазами, в которых дрожал закатный блеск.

— Эйжен! Эйжен! Очнись! — Кумачев тряс его за плечи, прижимал к себе, стараясь согреть теплом, которого и у него уже не было! — Сейчас наша очередь! Эйжен!

«Но как же Райнис! Как же я уйду, если он пришел». Это было последнее, что успел подумать Эйжен на плацу перед лагерной баней.

Очнулся он под жгучими струями душа. Сладостный огонь разлился по всем жилам. Кумачев тер и тер его своими огромными ладонями.

— Спасибо, Вася. Я уже в порядке...

Их погнали в следующую комнату. Думали — одеваться. Но тут их поджидал дюжий эсэсовец с брандспойтом. Ледяной струей он сбил бы Эйжена с ног, если бы не Вася...

Так состоялось их посвящение в штутгофцы.

Хотя «полноправными» штутгофцами они так и не стали...

Не успели стать!

— Окна настезь! — кричал штубендинст после отбоя.

— Окна настезь! — кричал он после подъема.

И подкреплял свои команды то коротким

ударом плети, то длинными поучениями на тему: свежий воздух — это здоровье, а в здоровом теле — здоровый дух. Поэтому:

— Окна настежь!

Настежь всем ветрам и морозам.

В бараке изолятора всегда было холодно. И по утрам, когда, окатив себя ледяной водой, заключенные получали пайку (150 граммов) хлеба, для близира помазанного повидлом. И в обед — полмиски непонятной бурды. И вечером, когда есть уже было нечего. Круглые сутки люди мерзли...

Мерзли, казалось, с единственной целью — заболеть. Заболеть и попасть в больничный блок. А оттуда проложен верно-короткий путь — в крематорий. Проложен уже не одной тысячей заключенных.

Почти 85 тысяч человек погибло в Штутгофе...

Почти все они прошли...

Больницу...

Крематорий!

Штутгофская больница никогда не пустовала, и редкому узнику удавалось обойти ее.

Побывал в ней и Эйжен. К счастью — на короткое время.

Строжайший лагерный регламент предписывал: в больнице одновременно может находиться не более двухсот человек. Двести первый отправляется в крематорий...

Но перед этим, если заключенный не умирал от болезни, его сажали в ванну. Один удар эсэсовской дубинки по голове и...

Черный дым крематория день и ночь окутывал лагерь. В черный дым, застилавший солнце и звезды, обращались те, кто еще совсем недавно были...

Крестьянами из Моравии...

Профессорами из Софии...

Рабочими из Донбасса...

Учителями из Словакии...

Ксендзами из Гданьска...

Солдатами из Вестерплатте.

Эйжена привели в больницу соседи по барaku. Из рук в руки передали его доктору Сапрунову.

— Постарайтесь не купать его в ванне, — попросил Кумачев.

— Сделаю все что смогу, — сказал доктор.

И действительно, ухитрился провести Эйжена мимо ваннх комнат, где несли постоянную вахту охранники с дубинками.

Смерть и на этот раз обошла Эйжена. В который уж раз!

Но в те дни она не обошла Петериса Юнга, с которым Эйжен был в Валмиере и в Саласпилсе. Погиб славный и добродушный человек, любивший незатейливой шуткой поднять настроение друзей. Погиб депутат Верховного Совета Латвийской ССР первого созыва...

Как и Эйжен, он был когда-то учителем.

Угрюмая ночь Штутгофа...

Ни конца ей, ни краю.

Тех, кто находился в изоляторе, на работу не гоняли. Но это вовсе не значило, что они сидели без дела.

«Дело» всегда находилось или придумывалось.

Саласпилсцев заставили петь. Ходить и петь.

Ходить, ходить, ходить вокруг барака...

И петь, петь, петь народные песни.

Кому-то из лагерного начальства понравились латышские народные песни.

Кому-то из начальства пришлось по вкусу, что узники целыми днями топчут снег вокруг барakov и поют, перекрывая осипшими голосами автоматные очереди в недальних песках...

Кто-то из начальства любил «концерты».

И они ходили, дрогли на морозном ветру, скрипели по снегу деревянными колодками...

Ходили с утренней темноты до темноты вечерней.

И пели...

Пели...

Пели.

Оглушая песнями...
И собственную боль...
И тяжелые мысли...
И саму смерть.

Но мир, страшный мир войны и «кацетов», не слышал этих песен. Он уже давно был оглушен скрежетом металла и предсмертными хрипами виновных в своей невинности людей.

Как любил народные песни Эйжен! Они всегда давали пищу его уму и сердцу, всегда сопутствовали ему в поэтических поисках.

Теперь они шли рядом с ним — между дощатой стеной барака и колючей проволокой изгороди.

Песни-лагерники!

Песни-узники!

Скрипели колодками песни Янтарного края...

Дышали смрадом крематория песни Янтарного края...

Обрывались на взлете ударами дубинки песни Янтарного края...

Умирали на смерзшихся устах песни Янтарного края.

... джимляй рудель ля-ля-ля!

Умирали песни!..

Не сдавались песни!

Побеждали песни!

... джимляй рудель ля-ля-ля!

Федька был уголовником...

Федька стал палачом.

Фамилии его никто не знал. Он был просто Федькой — человеком без роду-племени. Он одинаково плохо говорил на всех языках и не имел национальности.

Щуплый, с вечно слезящимися глазками и неизменно оскаленной в злой усмешке пастью, Федька как тень бродил за лагерными «фюре-рами» и с вожделением ждал команды: бить, кромсать, убивать. Он был дубинкой и плетью в

руках тех эсэсовцев, которые не утруждали себя собственноручной расправой с узниками.

Но очень часто Федька действовал и по собственной инициативе...

Огромное удовольствие он испытывал, поджидая в уборной очередную жертву. Будь то ночью или днем, он с дружками набрасывался на человека и через несколько минут на полу валялся полутруп. Его с веселым гиканьем выбрасывали в снег.

Однажды в Федькины лапы чуть не попался и Эйжен.

Вместе со всеми он в тот день (который уже день!) маршировал вокруг барака и пел песни. Было очень холодно, и заключенные по очереди забегали в уборную — погреться. Это было единственное место, где можно было хоть чуть-чуть отогреть завернутые в тряпье ноги, стереть изморозь с плеч.

... Толкнув дверь уборной, Эйжен в какой-то неуловимый миг увидел (в узкой щели между косяком и дверным полотном) притаившуюся фигуру Федьки и быстро выбежал наружу. Предупредил товарищей, и в тот раз палач не дождался своей жертвы.

Но через день или два Федька зверски избил старого садовника из-под Варшавы только за то, что тот запоздал снять перед ним шапку. Старик харкал кровью и умолял, чтобы «матка боска» быстрее забрала его к себе...

Потом наступил черед одного из узников латышей. Его нашли в уборной с проломленным черепом, долго пытались вернуть к жизни. Но...

Тогда было решено покончить с Федькой. Договорились: вечером Эйжен позовет Федьку в уборную для «секретного» разговора, а там его уже будут ждать самые крепкие ребята...

Федька очень легко попался в расставленную сеть. Привыкший к безнаказанности, он не подозревал, что люди еще могут сопротивляться.

Утром охранники нашли посиневший труп Федьки в сугробе.

Началось следствие...
Длилось оно две недели...
Две недели пыток!
Но никто никого не выдал.
Никто никого не предал.
Это было Сопротивление...
Сопротивление...
Злу...
Насилию...
Смерти...

Штутгофское начальство поняло: если этих узников оставить в лагере — Сопротивление станет всеобщим. И никакой крематорий не в состоянии будет сжечь его.

Поспешно сформировали эшелон...

На каждом вагоне рядом с шаблонными буквами «RU» мелом написали: Mauthausen.

И аккуратно подчеркнули это слово двумя извилистыми линиями.

АВТОР — ЭЙЖЕНУ ВЕВЕРИСУ

Знаешь, Эйжен, я заметил, что ты как-то по-особенному произносишь слово «Маутхаузен». Мне трудно объяснить... Словно ты выдыхаешь его из самых глубин груди. Получается это непроизвольно. Или я ошибаюсь? Нет — «Маутхаузен» звучит у тебя каждый раз так, будто ты забыл все остальные слова. Наверное, у каждого человека, на каком бы языке он ни говорил, есть такие слова, за которыми стоит нечто большее, чем просто — понятие, просто — мысль. И в стихах твоих, Эйжен, Маутхаузен всегда стоит на ударной строке, всегда на выдохе...

Итак — Маутхаузен...

Еще только готовясь писать эту книгу, я перечитал многое из того, что написано в нашей и зарубежной литературе о Маутхаузене. Это страшные страницы! Но в большинстве своем это и святые страницы! Священные верой своей в то, что маутхаузен не повторяются...

Читал я и протоколы Нюрнбергского процесса. И среди множества показаний, которые давали и обвиняемые и свидетели о нацистских лагерях смерти, нашел документ ПС-3870 (США-797), имеющий прямое отношение к Маутхаузену. Мне думается, сейчас будет уместно привести выдержки из этого документа, озаглавленного: «Письменное показание под присягой Ганса Марсалека»*.

«Я, Ганс Марсалека, будучи приведен к присяге, даю нижеследующие показания:

I. Я родился 19 июля 1914 г. в Вене, и с 29 сентября 1942 г. до освобождения находился в концентрационном лагере Маутхаузен. В лагере я выполнял обязанности второго лагерного писца...

II. 22 мая 1945 г. бывший комендант лагеря Маутхаузен Франц Цирайс был ранен американскими солдатами при попытке скрыться и доставлен в соседний с Маутхаузенем лагерь Гузен... Я в течение примерно 6—8 час. допрашивал Франца Цирайса. Допрос происходил в ночь с 22 на 23 мая 1945 г. Франц Цирайс имел три ранения навывлет, знал, что он скоро умрет, и сообщил мне следующее: «Я вступил в СС 30 сентября 1936 г. в ранге оберштурмфюрера на должность референта по обучению. Я был назначен в 4-й штандарт в Ораниенбурге и 17 февраля 1939 г. прибыл в Маутхаузен в качестве гауптштурмфюрера и преемника бывшего коменданта лагеря фюрера СС Заудра. Мою быструю и необычную карьеру я объясняю тем обстоятельством, что я часто добровольно просил послать меня на фронт. По приказу рейхсфюрера СС Гиммлера я был вынужден оставаться в Маутхаузене. Гарнизон СС в Маутхаузене распределялся следующим образом.

Один член СС приходился на каждые 10 заключенных. Максимальное число заключенных в лагере составляло примерно 17 тыс., не считая тех, кто находился в филиалах лагеря. Максимальное число

* Нюрнбергский процесс. Сборник материалов в трех томах. Т. 3. М., 1966, с. 400—405.

заключенных в лагере Маутхаузен, включая филиалы лагеря, составляло примерно 95 тыс...

Гарнизон лагеря в первое время состоял из соединений дивизии «Мертвая голова», включая охранные отряды и штаб комендатуры.

Впоследствии для несения охраны лагеря прибыло более 6 тыс. человек из вермахта и люфтваффе, которых одели в форму СС. Помимо того, в охране имелось много фольксдойчей, призванных в вермахт...

Я лично уничтожил примерно 4 тыс. заключенных, включая их в штрафные отряды... Я всегда лично принимал участие в казнях.

По приказу д-ра Лонауэра неисправимых профессиональных преступников под видом душевнобольных отправляли в Гархейм близ Линца, где их уничтожали по специальной системе гауптштурмфюрера СС Кребсбаха. В Маутхаузене наибольшее число убитых приходится на счет Бахмейера. Хемильски и Зейдлер в Грене заставляли дубить для себя человеческую кожу, на которой имелась татуировка. Из этой кожи для них выделявали переплеты для книг, абажуры для лампы и сумки.

В соответствии с приказом рейхсфюрера Гимmlера я должен был по указанию обергруппенфюрера СС д-ра Кальтенбруннера уничтожить всех заключенных. Для этой цели заключенных нужно было привести в штольни фабрики «Бергкристалл» в Гузене, в которых необходимо было оставить открытым только один вход. Затем вход в штольни я должен был взорвать... чтобы таким образом вызвать гибель заключенных...

В концентрационном лагере Маутхаузен по указанию бывшего гарнизонного врача д-ра Кребсбаха одна газовая установка была построена под видом банного помещения. В этом мнимом банном помещении заключенных отравляли газом. Кроме того, от Маутхаузена до Гузена курсировала специальная автомашина, в которой во время поездки заключенных отравляли газом. Автомашину сконструировал аптекарь, унтерштурмфюрер СС д-р Васицки. Сам я никогда не пускал туда газ, я

только управлял автомашиной, но знал, что заключенных отравляли газом. Отравление заключенных газом производилось по настоянию врача гауптштурмфюрера СС д-ра Кребсбаха. Все то, что мы совершали, делалось по приказу главного имперского управления безопасности, по приказам Гимлера, Гейдриха, обергруппенфюрера Мюллера или д-ра Кальтенбруннера, шефа полиции безопасности...

Газовая установка в Маутхаузене была построена по указанию обергруппенфюрера СС Глюкса, так как он полагал, что отравлять заключенных газом — более гуманный способ уничтожения, чем расстрел...

Именно обергруппенфюрер СС Глюкс отдал приказ о том, что заключенных, которые работали в крематории концентрационного лагеря Маутхаузен, следует отправлять в Гузен и убивать их там выстрелом в затылок...

В моем ведении как коменданта находились следующие лагеря: Маутхаузен с 12 000 заключенных, Гузен № 1 и Гузен № 2 с 2400, Гузен № 3 с 300, Линц № 1 с 5000, Линц № 2 с 500, Линц № 3 с 300, Эбензее с 12 000, ... Мелк с 10 000... Лойби-ласс с 3000, Швехарт — заводы Хейнкель с 400... Было еще несколько лагерей, всего примерно 45, но точно вспомнить о числе находившихся там заключенных я сейчас не могу...

Я, Ганс Марсале, дополнительно заявляю о нижеследующем:

... В начале лета 1943 г. концентрационный лагерь Маутхаузен посетил обергруппенфюрер СС д-р Кальтенбруннер. Его сопровождали комендант лагеря Цирайс, гаулейтер Айгрубер, первый лагерный начальник* Бахмейер и несколько других лиц. Я видел Кальтенбруннера и сопровождавших его лиц собственными глазами. Согласно показаниям тогдашних «носильщиков трупов» бывших заключенных Альберта Тифенбахера... и Иоганна Польстера... в тот день по случаю визита

* Наименование должности.

д-ра Кальтенбруннера унтершарфюрер Винклер, начальник тюрьмы, отобрал примерно 15 заключенных из числа содержащихся в карцере, чтобы продемонстрировать д-ру Кальтенбруннеру три метода умерщвления: выстрелом в затылок, через повешение и истребление газом. Среди предназначенных к экзекуции были женщины; им сбрили волосы и убили выстрелом в затылок. Вышеупомянутые «носильщики трупов» присутствовали при казни и должны были отнести тела в крематорий. После казни д-р Кальтенбруннер отправился в крематорий, а позднее — в каменоломню.

Бальдур фон Ширах* посетил лагерь осенью 1944 года. Он также осмотрел тюрьму и крематорий...

Я заявляю, что изложенные выше показания даны мною добровольно, без какого-либо принуждения. Они соответствуют истине, насколько я это знаю и осознаю, и я подтверждаю их под присягой.

Нюрнберг, 8 апреля 1946 г.

Ганс Марсалек».

Таков этот документ, Эйжен. Думаю, он не нуждается в комментариях. Сухие протокольные слова бесстрастно регистрируют факты...

Ты заметил: Цирайс даже перед лицом смерти пытается свалить свою вину на других. Я, дескать, только выполнял приказ. Цирайс уже давно истлел в своей могиле, но его (и иже с ним) «философия» отрицания вины за совершенные преступления жива. Более того, она получила развитие и выглядит целостной системой, которую коротко можно сформулировать так: стоит ли подвергать преследованию людей, которые вынуждены были «выполнять свой долг»? Есть ли смысл умножать число осужденных, вовлекать людей в процесс

* Бальдур фон Ширах — создатель и руководитель «гитлерюгенда», на Нюрнбергском процессе был осужден на двадцать лет тюремного заключения. Отбывал наказание в союзнической тюрьме Шпандау в Западном Берлине.

возмездия, усугублять рознь между ними! Существует ли, мол, реальная возможность устанавливать сейчас конкретную вину конкретных людей, принадлежащих своей эпохе!

Стоит ли карать убийц, виновных в смерти четырех миллионов человек в Освенциме!..

Миллиона трехсот восьмидесяти тысяч — в Майданеке!..

Ста двадцати двух тысяч семисот шестидесяти шести — в Маутхаузене!..

Ста тысяч — в Заксенхаузене!..

Пятидесяти двух тысяч — в Бухенвальде!..

А Ширах... Тот самый Бальдур фон Ширах, который инспектировал Маутхаузен, в мемуарах даже не упоминает о нацистских преступлениях. Он пишет только о своих иллюзиях, погибших под обломками третьего рейха. Этот крупнейший идеолог и практик фашизма, растливший тысячи и тысячи душ немецких мальчиков и девочек, как какой-нибудь рядовой эсэсовец сваливает всю вину за свои злодеяния на Гитлера. Прямо так и говорит: только тупая ограниченность и самонадеянность Гитлера привели к крушению немецкую нацию.

24 мая 1946 года на Нюрнбергском процессе подсудимый фон Ширах заявил: «Моя вина заключается в том, что я воспитал молодежь для человека, который был убийцей, который погубил миллионы людей...»

В начале января 1969 года газета «Нойес Дойчланд» писала, что фон Ширах выступил по западногерманскому телевидению в передаче «Гитлер-югенд». Комментируя документальные ленты, Ширах сказал:

— Маленькая Германия должна же была стать однажды великой!..

На экране двигались толпы молодежи и скандировали: «Германия, проснись!» Их приветствовал Ширах.

Телевизионный комментатор спросил Шираха:

— Решились бы вы сегодня повторить все сначала?

— Конечно! — ответил Бальдур фон Ширах, отбывший наказание после суда.

Не поэтому ли, Эйжен, ты написал свою книгу?

Маутхаузен — небольшой городок на отрогах Альп. Город, где цветут розы и стремительно бежит «прекрасный голубой Дунай».

«Прекрасный голубой Дунай»...

Штраусовский вальс...

Ритмичный и мелодичный, по-детски наивный и кокетливо-обворожительный...

Голубой Дунай...

Кроваво-красные розы...

Тихий Маутхаузен с черепичными крышами и задумчивой кирхой — «как в Валке!» — вспомнит Эйжен.

Маутхаузен стоял на земле, где веснами вместо травы вырастали кресты...

Невидимые, они подымались среди разнотравья альпийских лугов. Безмолвные, они стояли наедине со всей вселенной.

Крестоцветы...

Крестоцветы Маутхаузена!

Сто двадцать две тысячи крестов...

Их не было.

Но они были и будут!

Специальностью Валмиерской тюрьмы было молчание.

Специальностью Саласпилса — «карусель».

Штутгофа — холод.

Маутхаузен был универсален.

Он вместил в себя опыт всех тюрем и всех лагерей, поставил на службу уничтожения людей все пытки и все виды смерти. В нем было и свое молчание, и своя «карусель», и свой холод. К ним прибавились газовые камеры и душегубки...

Маутхаузен был универсален. Это был штрафной лагерь, куда со всех концов Европы свозились непокоренные, несломленные узники. Здесь их должны были покорить, сломить.

Маутхаузен был Мордхаузенем...

«Morden» по-немецки — убивать.

Крестоцветы Мордхаузена всходили на земле, кропившейся кровью.

Крови было так много, что Эйжену казалось, будто у земли перерезаны вены и аорты. Но почему, почему же она тогда жива!

Почему!

Со временем Маутхаузен ответит ему на этот вопрос.

Маутхаузен, Мордхаузен...

Вой собак и вой сирен.

Призывают день расплаты

Души тех, кто здесь сгорел.

Как и в Штутгофе, их первым делом погнали в баню. Это было длинное и приземистое здание с двумя входами и двумя выходами.

Тогда они еще не подозревали, что баней служила только часть помещения. Другая была газовой камерой...

Они выстроились в длинную очередь и ждали.

Ждали час, два, три...

Черно-базальтовые башни смотрели на узников узкими прищурями пулеметных амбразур. Башни эти со всех сторон окружали лагерь, и в любой его точке чувствовался их неусыпно-тяжелый взгляд.

Обычно они молчали — башни.

Молчали насупленно и грозно, готовые вот-вот взорваться бешеным строкотом.

Ночами они светились глазами-прожекторами. Щупальца этих глаз проникали в самые затемненные уголки лагеря, бесшумно бегали по стенам бараков, скользили по лицам... Пройдет много лет, пока Эйжен отвыкнет чувствовать на себе постоянный взгляд черных башен. Еще очень долго он будет просыпаться по ночам, ощущая на лице, на всем теле липко-холодный взгляд прожекторов черных башен.

Сейчас был морозный денек...

Сейчас они ждали своей очереди в баню.

Ждали, когда тощий эсэсовец в позолоченных очках оторвется от книги, которую перелистывал, и вяло махнет рукой: входи! И той же рукой — вялой и хлипкой — начнет делить узников на двое — одних направит в левую дверь, других — в правую.

Еще не подозревая, даже не догадываясь, что своим равнодушным жестом эсэсовец отсекал живых от мертвых, Эйжен терпеливо ждал, когда подойдет его черед... Вот очередь толчком продвинулась ближе. Эйжен поймал себя на том, что неотрывно смотрит на книгу в руках эсэсовца. «Когда я читал книги! Как давно держал их в руках! Когда... Когда же в последний раз!.. Да, это было еще до... Еще до...» В той, первой жизни!

Снова толчком продвинулась очередь...

Двадцать человек — налево...

Пять — направо.

Снова уткнулся в книгу тощий эсэсовец. Вглядевшись, Эйжен прочел на переплете: «Шлоссер. Мировая история в картинах». Книга его детства! Книга, которую подарил когда-то отец, которую Эйжен знал наизусть, по которой учился рисовать и вообще понимать искусство...

«— Здравствуй, старый друг! Как ты оказался здесь? За что они привезли тебя в лагерь!

— За Родена. Он жидовствующий, сказали они...

— А еще за что!

— За «Возвращение блудного сына» Рембрандта. Блудных детей нельзя прощать, сказали они...

— А еще...

— За Лоренцо Гиберти. Его «Встреча Соломона с царицей Савской», сказали они, антиарийна...

— Антиарийна!

— Да! И не нравится фюреру. А все, что не нравится фюреру, должно быть уничтожено.

— Так тебя...

— Да, меня сожгут на костре. Прощай!»

Тощий эсэсовец небрежным жестом швырнул «Мировую историю в картинах» на груды растрепанных книг...

И точно таким же небрежным жестом пропустил...

Двадцать человек — налево...

Четырех — направо.

Налево — в баню.

Направо — в газовую камеру!

Эйжен пошел налево...

И успел на ходу прочесть название новой книги, которую листал эсэсовец: «Кола Брюньон»...

Мы —

«Шапки надеть!» —

Шлепаем

К своим холодным смердящим нарам.

Сто шестьдесят три ступени вели вниз, в Штейнбрух — каменоломню...

Сто шестьдесят три ступени вели вверх, где по краю неба ползали вагонетки.

Внизу — скрежет буров, впивающихся в камень...

Внизу — удары кирок и молотов, разбивающих камень...

Вверху — лязгающий звон вагонеток, в которые сваливают камни...

Внизу — свист плети, короткие предсмертные вскрики...

Вверху — такой же свист плети и такие же короткие предсмертные вскрики...

А кругом...

Камни...

Камни...

Камни...

Внизу — в каменоломне — копошатся люди в полосатых куртках. Они долбят и долбят грани, отсвечивающий кровью...

Кровью узников...

Она льется здесь каждый день, каждый час.

Ты ослаб! Ты больше не можешь махать киркой! Капо по прозвищу Берлинец тут как тут: получай! Удар дубинки по голове валит узника с ног. Ты не можешь встать! Тем хуже для тебя! Берлинец наступит сапожищами тебе на горло и будет ждать, пока ты перестанешь хрипеть.

Берлинец знает свое дело!..

Берлинец умеет бить, а его сапог — давить!

Между верхом и низом...

163...

163...

163 ступени!

Отсчитанные и неотсчитанные ударами сердца...

Сосчитанные и пересчитанные ударами дубинок.

Шестнадцать дубинок ждали на этой лестнице каждого, кто, взвалив на плечи тяжеленный камень, поднимался вверх, к вагонеткам.

Шестнадцать одинаково равнодушных дубинок ждали своей жертвы, спускавшейся вниз за новой ношей.

Через каждые...

Десять...

Ступеней...

Дубинка.

На каждой ступени...

Смерть!

На каждой из...

163...

Смерть!

Ты можешь упасть на девятой... Выронить камень и упасть. И тогда упадут все товарищи, идущие за тобой.

Ты можешь упасть на семьдесят третьей, и твой камень собьет тех, кто находится ниже... Как будут хохотать капо! Как они будут ржать, видя полосатое месиво на ступенях.

В этом антимире смерть всегда ржала над мучениями своих жертв...

Ржала на Седаскалнсе...

Ржала в Иршупарке...



Ржала в Саласпилсе...

Ржала в Штутгофе...

Ржала в Маутхаузене.

Просто смех ей был недоступен. Ей надо было ржать во всю мощь легких и глотки. Эти дюссельдорфские бакалейщики, эти мюнхенские пивовары, любекские растлители малолетних или франкфуртские «медвежатники», облаченные в эсэсовскую форму, разучились смеяться человеческим смехом. Они могли только по-животному ржать.

Особенно громкое ржание раздавалось, когда обессилевший узник падал на последних ступенях лестницы. Вместе с человеком падал и камень. И катился, набирая скорость, сокрушая и сбивая всех, кто шел ниже...

Падали люди...

Падали камни...

Лавина неслась в Штейнбрух, обрастая на своем пути новыми и новыми жертвами...

Страшная лавина из живых людей и мертвых камней!

Ей не было ни конца ни края. Как на саласпилсской «карусели».

Сто шестьдесят три ступени были каждый день.

Каждый день — от зари до зари...

Сто шестьдесят три гранитных ступени, до блеска отшлифованных сотнями сотен жизней...

Ступени смерти, отшлифованные жизнями!

Сколько раз бывало, что в тот самый момент, когда Эйжен уже готов был повалиться на эти ступени и не встать, его поддерживал Василий Кумачев или кто-то другой...

Не дай упасть товарищу!

Это стало законом братства...

Законом Сопротивления!

Сколько жизней оно уберегло на этих страшных ступенях!

Но если ты благополучно взошел на последнюю — сто шестьдесят третью ступень, — это не значило, что можешь перевести дыхание, успокоить бешено рвущееся из груди сердце. Здесь, наверху, где лязгали вагонетки и орали охран-

ники, тебя в любую минуту ждало новое испытание... Например, «вышка парашютистов».

Ее «изобрел» эсэсовец Лизнер. Обычно он стоял на последней ступени лестницы и наблюдал, кто и как преодолевал рубеж. У тебя камень чуть меньше, чем у других? Получай «довесок» — удар дубинкой! А ты, старая обезьяна, посмел не улыбаться! Получай!

Получай!..

Получай!..

Стоп! Этот парень вроде бы покрепче других! Отойди в сторонку, отдохни. Сейчас мы испытаем твою силу... Ага! Вот еще один крепыш! Иди сюда! Кто из вас сильнее! Не знаете! Проверим! Вот площадка, видите! Это ринг или ковер — как угодно. А вы — боксеры или борцы, как хотите. Боксеры! Отлично! Начинайте! Сильный побеждает слабого и бросает его вниз. С обрыва. Понятно!

Ржал Лизнер...

Ржали охранники...

Ржали во всю глотку, наблюдая, как узники избивают друг друга на краю пропасти.

Ржали, когда с «вышки парашютистов» сталкивали в Штейнбрух сильнейшего...

Но однажды эсэсовцы не ржали...

Однажды...

Эйжен видел, как Лизнер отобрал для своей забавы очередных узников — худощавого юношу белоруса и пожилого чеха. Они были незнакомы, эти два человека, только что поднявшиеся по ступеням смерти. Они жили в разных бараках и говорили на разных языках. Но здесь, наверху, они сразу поняли друг друга, потому что были людьми.

Потому что остались людьми!

Эйжен увидел их рукопожатие...

Потом они обнялись...

Юноша белорус...

И пожилой чех.

И обнявшись — навсегда обнявшись! — прыгнули в пропасть.

Два слившихся в едином порыве человека...
Белорус...

И чех...

Ушли в бессмертие, как в жизнь!

Нет, Лизнер и охранники не ржали!

Так уходили из жизни настоящие люди!

— Героизм! — спросит себя Эйжен-узник.

— Сопротивление! — ответит Эйжен-поэт.

Их не сомнешь,

Они выстоят!

А если падут,

То падут,

Как падают колокола,

До краев наполняя долины

Гудящими небесами.

Здесь, в Штейнбрухе, Эйжен видел, как умирали люди.

Одни — покорно и отупело...

Другие — как те двое — с гордым вызовом!

Здесь, в Штейнбрухе, Эйжен снова и снова немел перед чудом воскресения...

Кроме Берлинца, Лизнера и множества других унтер-эсэсовцев, вершивших людские судьбы в каменоломне, сюда наведывались и эсэсовцы-офицеры. Наведывались с единственной целью — позабавиться, поиздеваться над бессильными в своей беззащитности узниками.

У каждого был свой «метод».

Каждый истязал или убивал «по-своему»...

Один стремился превзойти другого в убийстве.

Но в конечном итоге все они были схожи. Схожи своей звериной яростью, своей жаждой крови.

Один из офицеров — память Эйжена, к сожалению, не сохранила ни имени его, ни фамилии, ни чина, ни прозвища — был, как говорили, когда-то чемпионом Германии по боксу. А еще он был доктором философии и до войны вел кафедру философии не то в Гейдельбергском, не то Кёльнском университете. Поджарый, с длинным, «арийским», лицом, иссеченным традиционными

студенческими шрамами, и кадыкастой шеей, украшенной рыцарским крестом в золоте, он обычно приходил в Штейнбрух после короткого обеденного перерыва... Ходил между узниками, поигрывал изящным стеклом, брезгливо морщил тонкие губы. Ходил долго, как будто безразличный ко всему. Как будто...

Заключенные знали — очень хорошо знали! — его кажущийся безразличным взгляд. На самом деле он все время в кого-нибудь целился своими неживыми глазами. В кого? В тебя? В меня?

Каждый ждал...

Каждый ощущал — спиной, затылком — этот прицел.

Каждый боялся оглянуться, чтобы не столкнуться с этими безразличными глазами.

Но рано или поздно — сталкивался!

И тогда...

Указательным пальцем офицер подзывал жертву:

— Номер!

— Такой-то, — рапортовал узник, уже зная, что за этим последует.

— Четный [нечетный]! Отлично! — Офицер с минуту медлил, замечая (или не замечая!) стоявшего перед ним человека. Потом...

Потом следовал удар...

Быстрый, профессионально-боксерский удар в подбородок. И человек падал на камни.

Иногда он поднимался, чтобы получить еще удар. И снова падал...

К нему подбегали охранники, щупали пульс:

— Готов!

Если человек был еще жив — поднимался, ставили под новый удар.

— Готов!

И подобострастно ржали... Офицер брезгливо морщился и молча уходил, насытившись смертью.

Сколько таких смертей уже видел Эйжен!

Сколько раз он ждал — сегодня мой черед...

... Указательным пальцем эсэсовец подозвал его к себе.

— Номер!

Эйжен назвал свой номер.

— Чет... Ба! Это ты, профессор! — Всех бывших учителей в лагере почему-то называли «профессорами». — Я давно ждал случая поговорить с тобой.

Что случилось! Почему боксер-философ изменил привычным методам! Решил поиграть со своей жертвой! Он даже подхватил Эйжена под локоть и повел по каменному крошеву так, будто они прогуливались по тенистым аллеям Тиргартена...

— Ты умный человек, профессор, — говорил он негромко, — и должен помочь мне разрешить трудную задачу. Она мучит меня уже не первый год... Я так надеюсь! Слушай! Я открою тебе тайну своей души... Объясни мне, профессор, почему я не могу заснуть ночью, если днем не умою свои руки... Вот эти руки, — эсэсовец протянул Эйжену крупные холеные ладони, — если не умою их человеческой кровью! Час за часом я лежу без сна... До утра! Но если днем... Если днем,, Здесь... ты же видел, как я это делаю! Тогда ночью я спокойно засыпаю. И вижу волшебные сады, сады Семирамиды... Отчего это происходит, профессор!

Что Эйжен мог ответить на этот вопрос садиста, мучающегося от несовершенного убийства! Да и нужен ли этот ответ! «Так или иначе, — думал Эйжен, — через несколько минут он покончит со мной, чтобы ночью увидеть приятные сны... Что ж, скажу все, что я о нем думаю. Пусть бьет, но я скажу...»

— На вашем месте, господин офицер, я бы разрешил эту дилемму выстрелом, — ответил Эйжен и увидел, как в стеклянных глазах эсэсовца зажглось какое-то подобие любопытства.

— Выстрелом! — переспросил офицер. — Ты предлагаешь, чтобы свой кулак я заменил пулей!

— Нет, господин офицер. Я имею в виду выстрел, которым вы перенесете себя в вечные райские кущи...

— Самоубийство!.. Ты предлага... Мне, офицеру великого рейха, ты предлагаешь покончить с собой! — Эйжен почувствовал, как острые пальцы эсэсовца вонзились в его локоть. — Уж не считаешь ли ты меня убийцей, профессор? Отвечай!

— Да, я считаю. И поэтому предлагаю единственно возможный для офицера выход... Война скоро кончится, и вам придется...

— А ты храбрец, профессор, — эсэсовец остановился и с ног до головы окинул взглядом фигуру Эйжена. — В чем только теплится жизнь, а рассуждаешь смело... Очень смело! Недаром, видно, ты оказался здесь, профессор... Уважаю храбрых людей. — Он снова подхватил Эйжена под локоть. — За смелость — спасибо... Ну, а за совет... Что ж, я подумаю. Возможно, ты и прав.

Они снова шли по каменоломне. Эсэсовец пустился в длинные рассуждения о том, что немцы — народ наступательный, и в этом надо искать источник всего хорошего, что они сделали «в этом грешном мире».

— В самом деле, профессор, кто истребил полабских славян! Кто после этого великого исторического акта открыл путь немецкому мечу в Чехию и польские земли! Разве мы, немцы, можем забыть, как архиепископ Като писал из Лейпцига римскому папе о славянах: «Хотят ли они того, не хотят ли, а все-таки должны склонить свои выи немецким князьям»... Очень современно звучат эти слова, не правда ли! А вспомни нашего праведника Бонифация! Он был усерднейшим проповедником христианской веры в Германии. Святой Бонифаций называл славян самым жалким и самым отвратительным племенем. Я готов подписаться кровью под этим мудрым определением. И вообще, мы, национал-социалисты, берем из прошлого, из истории все самое главное, самое ценное, что помогает нам строить тысячелетний рейх. И беспощадно выбрасываем на свалку всяческие иллюзии вроде совести, человечности,

гуманизма и прочих абстрактных категорий. Мы народ наступательный, — вернулся он к первоначальной мысли, — а в наступление ходят налегке, не правда ли, профессор!

Он говорил еще долго, говорил о философских школах Риккерта, Наторпа, Штаммлера, Ницше, Гуссерля — этих идейных предшественников фашизма, о социальном дарвинизме, об иррационалистической мистике неогегельянцев, питающих «вечный германский дух», и поэтому взятой на вооружение Гитлером и Розенбергом...

— А теперь, профессор, идите и работайте! — неожиданно закончил свои излияния боксер-философ. — *Arbeit macht frei*.*

Эйжен взялся за кирку, не переставая удивляться, что вышел живым из рук матерого садиста. А тот постоял какое-то время рядом...

— Эй, профессор! — услышал Эйжен его голос и понял, что эсэсовец не собирался изменять свои привычки. — Ко мне, быстро!

Эйжен подошел, как положено снял полосатый берет. «Теперь — все!» — пронеслось в сознании. Но...

И произошло чудо. Чудо воскресения: крохотное звено в цепи случайностей.

Случай...

Случай.

Кто-то сказал, что случай идет навстречу тому, кто умеет его ловить. В любом из «кацетов» случай определял: жить или умереть. Сегодня этот эсэсовский офицер случайно был настроен на философский лад и Эйжен остался цел и невредим. Завтра (а может быть, через час или неделю!) случай подставит его под кулак или пулю...

Сейчас же, вместо того чтобы ударить, эсэсовец протянул Эйжену полбуханки хлеба, которую он забрал у конвоира:

— Это тебе, профессор! За храбрость! Только не советую быть таким смелым с другими... Не поймут! — И ушел, поигрывая стеком...

* Работа делает свободным.

Через час или два Эйжен узнал: одним ударом мощного кулака офицер навсегда бросил на камни итальянца-партизана.

Сегодня этот философствующий ублюдок будет спать спокойно!

Кто смерть нашу вспомнит во цвете лет
На Штейнбруха жутких ступенях!

Простая арифметика:

Слабый выдерживал Штейнбрух неделю...

Более сильный — две...

Сильный — три...

Самый сильный — четыре.

Разумеется, при условии, что до этого его не скосит пуля, кулак, дубинка или «вышка парашютистов».

Эйжен пробыл в Штейнбрухе три недели и два дня. Точнее — двадцать три с половиной дня.

«Половинку» он почти не запомнит. Она будет лежать где-то в подсознании, между бредом и явью, между кошмаром и печальными глазами Васи, который уже ничем не мог помочь своему другу.

Кто знает, может быть, Эйжен так и остался бы лежать на камнях Штейнбруха, если бы...

Если бы снова не сработало звено в цепи случайностей. Именно в ту половину дня, когда Эйжен уже переставал реагировать на окрики охранников-капо, когда перед его глазами все чаще и чаще плыли сине-красные круги, голова взрывалась от нестерпимой боли, а ноги отказывались ступить на очередную ступень, когда реальный мир каменоломни начал растворяться в едких, как кислота, фантастических видениях — именно в ту половину дня поступило распоряжение начальства: отправить всех полуживых и полумертвых в Гузен, а на их место поставить новую партию штрафников, прибывшую из Заксенхаузена.

Эйжен был спасен...

Снова спасен!

Он смутно запомнит дорогу в Гузен.

Шел по ней и не видел, что там вдали...

В будущее его просочатся капли воспоминания от этой дороги — капли мыслей, с которыми он тогда шагал...

Первая капля:

... Остановись, мгновение, — ты ужасно!

Вторая капля:

... Сколько времени моей жизни уже утекло сквозь решетки и колючую проволоку.

Третья капля:

... Кто-то сказал: надежда — это воспоминания о будущем. А у нас нет будущего!

Он шел по дороге на Гузен, и эхо его шагов печаталось в памяти.

По дороге на Гузен его вели товарищи, которые не дали ему упасть...

Они же поддержали его, дали собраться с силами в новых испытаниях.

В Гузене рыли шахты для подземного завода...

Бетонировали стены...

Прокладывали рельсы узкоколейки.

Целый день под землей...

Целый день дышали воздухом, пропитанным мельчайшей каменной пылью. Она въедалась в легкие, и люди надсадно кашляли, выплевывая вместе с каменной пылью сгустки крови...

Силикоз!

Пещерная болезнь пещерного времени...

Неизлечимая...

Бесповоротная.

Начал кашлять и Эйжен. Снова к нему подкрадывалась смерть...

Теперь она была безмолвна и невидима.

Смерть-невидимка!

Снова ему помогли товарищи. Словно бы случайно...

Нет, узнает он потом, это был не случай. Это действовала подпольная организация Сопротивления. Кого еще можно было спасти — спасали.

Эйжена перевели в команду, которая прокладывала телефонные линии в горах. Он получил

самое нужное лекарство — свежий горный воздух...

И солнце!

Солнце, о котором уже успел забыть в подземелье.

Команда сплошь состояла из бывших итальянских партизан-гарибальдийцев. Веселые ребята, ухитрявшиеся даже в лагере с неописуемым щегольством носить свою изодранную в клочки форму. Эйжен не переставал удивляться их самозабвенному великодушию, их светящимся улыбкам и их песням — теплым песням их теплой родины. Эйжен думал тогда, что хотя итальянский фашизм и старше немецкого, он не растлил души и умы итальянцев.

Веселые гарибальдийцы-итальянцы! Они поддерживали его в трудные дни. Они подставляли свои плечи, когда Эйжен уже не в силах был волочить тяжеленное бревно в гору.

— Шнель, шнель, лигурийский мул!

Один за другим они погибали, эти веселые гарибальдийцы. Но перед смертью успевали взвалить на себя чужой груз и чужую боль...

И уносили их с собой, в вечность. Уносили вместе с песней лигурийских партизан...

В этой песне

Мечи

Звенели.

Наступил день, когда Эйжен уже не смог подняться с грязных и вонючих нар Гузена...

Когда уже не было сил шагать в колонне «хефтлингов»* и чувствовать себя солдатом, идущим в строю...

Наступил тот день!

Товарищи принесли его в «ревир» — амбулаторию. Здесь его привели в чувство такие же как он сам «доходяги». С ними он стал ждать...

Стал ждать, когда придет грузовик и отвезет

* Heftling (нем.) — заключенный.

в Маутхаузен, где находился Russenlager — русский лагерь. Расположенный чуть ниже основного, он был построен советскими военнопленными...

Построен на крови.

Давно превратились в теплый пепел крематория те строители больничных блоков, а название осталось — как надпись на памятнике.

Между Гузенем и Маутхаузенем бегал грузовик, перевозивший больных...

Между Гузенем и Маутхаузенем бегала и душегубка.

Иногда приходил и уходил грузовик...

Иногда — душегубка.

Никакой закономерности...

Никакого расписания.

Повезет — окажешься в грузовике...

Не повезет — в душегубке!

Карточная игра... Штос...

Направо — смерть...

Налево — жизнь.

Хефтлинги ждали, какая карта выпадет.

Ждал и Эйжен...

Снова ждал смерти или жизни, не смея надеяться, отбрасывая и вновь собирая воспоминания о пережитом и передуманном в точно такие же вот минуты и часы ожидания.

... На этот раз пришел грузовик.

И на этот раз ему выпала карта — жить!

Больничный барак был переполнен. На каждой койке лежало по три-четыре человека. Лежали «валетом»: ноги — голова, ноги — голова.

Умирующие и живые — рядом.

Мертвые и живые — рядом.

Лекарств почти не было. И все-таки врачи ухитрялись воскрешать, возвращать к жизни тех, кто уже стоял по ту сторону черты.

Позже Эйжен узнал, что в русском лагере действовала большая группа Сопротивления, поставившая своей главной целью спасение людей.

Действовала вопреки смерти...

Действовала назло смерти.

И очень часто, очень часто побеждала!

Побеждала лишней пайкой хлеба, взятой у мертвого, числившегося в живых...

Побеждала полуторной порцией баланды...

Порошком стрептоцида, невесть какими путями проникшего за колючую проволоку...

Доброй вестью с фронта...

Улыбкой соседа, вновь почувствовавшего вкус к жизни...

И, конечно же, добрыми руками врача!

Эти руки, думал Эйжен, излучают солнце и любовь. Это руки — чудотворцы, руки, которые фактически оберегают мои слова. А они еще не родились...

Да, там в маутхаузенской больнице Эйжен снова услышал в себе нарождающиеся строки. Строки-младенцы бились в нем, просились в мир. Но он боялся выпустить их, потому что кругом были страдания и смерть, потому что этот мир мог погубить рождавшуюся поэзию. «Лучше пусть она умрет во мне вместе со мной, чем станет таскать на себе жмущие колодки узника».

Эйжен еще не догадывался, что в русском лагере Маутхаузена в нем пробуждалась та большая поэзия, которая каждым своим словом, каждой строкой и строфой подтвердит его собственную судьбу. И те из мук и тревог, что не были до конца перечувствованы смертниками, Эйжен перечувствует за них, вплетет в них собственную боль и собственную тревогу. Здесь, на больничной койке, среди ежечасных смертей и ежечасных воскрешений, Эйжен припомнит и Лапмежциемс с его голышами-ребятами в искрящихся брызгах моря, и стонущие половицы Билской школы, и последний залп первой мировой войны, и первый залп второй — в Валке, и четыре смерти на Седаскалнсе, и смерть девочек в Иршупарке, и Саласпилс, и холод Штутгофа... Он вспомнит все! И ничего не забудет в своих стихах, которые рождались в нем...

Рождались добротой...

Состраданием...

Сопротивлением!

И его гражданственная позиция в этом анти-мире, вместившем в себя и мир лучших человеческих качеств, станет его поэтическим методом. Смысл этой жизни окажется и содержанием и формой его поэзии.

Годы и годы спустя Эйжен сам удивится, почему первым поэтическим образом, родившимся в те нелегкие больничные дни, окажется горсть солнца... Не солнце вообще, не отдельный его лучик, не солнечное тепло даже, а именно горсть солнца...

Горсть солнца!

Горсть солнца!

Эту горсть Эйжен прежде всего увидел у врачей. Они могли сделать очень мало, но делали так много! Щедрые горсти солнца раздавали больным узникам...

Доктор Иосилевич, скрывавшийся под фамилией Григорьевского...

Доктор Зденек...

Доктор Чаплинский...

Доктор Подлага...

Они рисковали каждый день оказаться в газовой камере или на виселице, но несли и несли людям самое ценное, что у них было — горсть солнца своей души и излечивали ею раны и болезни.

Горсти солнца. Горсти Сопротивления!

Слитые вместе, они превращались в гигантское Солнце — Солнце Сопротивления, рождавшее жизнь и побеждавшее смерть.

Горсть солнца в руках врача...

У него только добрые руки спасенья.

И мы живы.

Даже в омуте безнадежности,

Прозванном нами мертвецкой.

И выживем,

Ибо есть на земле эти руки.

Да, в больничном блоке Маутхаузена, едва оправившись от болезни, Эйжен вновь почувствовал

себя поэтом. Добрые руки врачей вернули ему не только жизнь, но и светлый мир светлых чувств.

Помог разбудить эти чувства итальянский поэт Джулио Мальяно. Они «валетом» лежали на одной койке, и Эйжен, основательно освоивший итальянский язык во время работы с лигурийскими партизанами-гарибальдийцами, сказал ему как-то, что видит в каждой руке доктора горсть солнца. . .

С этого начался разговор о поэзии. Разговор, в котором было много невысказанных слов, одинаково понятных и Эйжену и Джулио. Вместе с ними в этих нескончаемых беседах участвовали Данте и Ариосто, Тассо и Тассони, Маркантини и Джустини, Кардуччи и Белли, Райнис и Пумпур, Вейденбаум и Паэгле, Алунан и Аспазия, Плудон и Лайцен, Судрабкалнс и Чак. Каждый из них имел в запасе не одну добрую горсть солнца и щедро дарил ее узникам больничного блока. И от этих солнц — столь разных в своем поэтическом сиянии, но одинаковых в стремлении принять все зло на себя, чтобы прекратить его разрастание, — снова родилась у Эйжена мысль, которая впоследствии выкристаллизуется в его стихах о розах и проклятой земле Маутхаузена. . .

Почему от того, что в мире были Данте и Райнисы. . .

Почему на ней не перестали быть муссолини и гитлеры!

Почему!

Там, в больничном блоке, Эйжен напишет стихотворение. . . Свое первое лагерное четверостишие. У него не было ни клочка бумаги, ни огрызка карандаша, и он напишет его на песке под окном барака.

И прочтет его Джулио вслух.

И поднимет удивленно красивые брови итальянец.

И улыбнется краешками глаз, в которых на мгновение вспыхнут зарницы. . .

То четверостишие втопчут в проклятую землю кованные свастиками сапоги. . .

И погаснут зарницы в глазах Джулио Мальяно.
Но придет новый день и родятся новые стихи...
Их отцом будет Эйжен, а матерью...
Матерью тех стихов станет народная песня.
Но перед тем...

В больничный блок привезли Василия Кумачева. В Штейнбрухе он подставил свою спину под дубинку, которая должна была добить югослава, еще почти мальчика... Мальчик остался жить, а Василий оказался на одной койке с Эйженом и Джулио.

Они давали ему пить, делились похлебкой, промывали его раны и... И читали стихи. Василий не понимал слова, но чутко улавливал доброту, льющуюся из рифм и ритмов, подобно бальзаму. Ведь истинная поэзия всегда целебна!

К двум поэтам вскоре присоединился третий — поляк со странной фамилией Юноша-Домбровский. Он сочинил цикл стихотворений, посвященных крупным историческим фигурам прошлого. Среди них было и стихотворение о Клеопатре — страстный призыв к свободе и свету.

Однажды к Эйжену обратились немецкие коммунисты: не мог бы он перевести на их язык что-нибудь из латышской поэзии? Они даже снабдили его бумагой и карандашом...

И вновь Эйжен почувствовал себя счастливым. Почти таким же счастливым, как там, в Валмиерской тюрьме, в обществе двух девочек... Переводил песни, подспудно опасаясь, что их ждет та же участь, что и тех девчушек. И все-таки переводил, окрашивая горечью и сладостью каждую строчку.

Впоследствии он не сможет припомнить, какие именно песни получили новую жизнь в больничном блоке русского лагеря. Главное в другом — те песни были нужны людям, нужны среди горестей и мук, среди отчаяния и боли. Значит, станет думать Эйжен, каждый из нас еще не утратил духовную связь времен, значит, жестокое тавро

этого антимира не заклеямило нашей совести и жив еще Человек в человеке.

Тогда Эйжен еще не понимал, что быть поэтом — это необходимость, диктуемая временем, и поэтому не быть поэтом ему просто нельзя. Тем более, когда на перекрестке всех мыслей и чувств стоит Маутхаузен, к которому его привели дороги с Седаскалнса, из Валмиеры, Саласпилса и Штутгофа. Да и не только они! А разве Пулеметная горка, бой на Малой Югле или на Инчукалнских высотах — разве не по ним он пришел на свой главный перекресток!

Нет, не писать он не мог!

В тусклом свете больничного блока Эйжен переводил для австрийских товарищей искрящиеся янтарным светом латышские дайны.

Это были его горсти солнца!

И не отдать их людям он не мог.

В одной из лагерных мастерских работали художники и переплетчики. Их заставляли делать обложки фашистских книг из человеческой кожи. Такие «книги» очень ценились среди нацистской элиты. . .

Тоненькую книжицу переводов Эйжена австрийцы переплели в обычную кожу и вытеснили на ней сверкающее солнце — солнце надежды. . .

Книжка эта стала маленьким символом Сопротивления.

Ее судьба осталась неизвестной. Но от этого Сопротивление не перестало быть Сопротивлением.

Первую свою книгу Эйжен «издал» в Маутхаузене. . .

«Издал» на языке, которым говорили (нет, не говорили, а рычали!) палачи.

То были народные песни — веселые и озорные, лукаво-мудрые и бесхитростные, лирично-грустные и задорно-смешливые. . .

Единственное из маутхаузенских стихотворений, сохранившихся в памяти Эйжена, посвящено этим песням:

Лампочка еле мерцает в бараке,
Мгла поглотила альпийские вышки,
В блоке больничном немецким товарищам
Пишу народные песни латышские.

Стоит на миг оторваться от строчек, —
Темень и смерть вновь глаза мои лижут,
Шел я недолго леском серебристым,
Скрипят мои нары, тверды как булыжник.

Рысьи глазища опасности смотрят
В окна, и гибелью пахнет отчаянье.
В омут страданий летят, словно листья,
древние песни — латышские дайны.

Фашистские врачи редко появлялись в этом
больничном блоке. Но если появились, это озна-
чало смерть многих и многих. . .

Эти врачи были вестниками смерти!

Врач и смерть. . .

Какие несопоставимые понятия!

Но в антимире все несопоставимо.

Врач, облаченный в эсэсовскую форму, был
антиврачом. И не только по внешним признакам.
Люди, в свое время присягнувшие Гиппократу,
имевшие профессиональные дипломы или свиде-
тельства, уже давно изменили своей клятве враче-
вателей и заменили ее присягой убийц.

Гиппократ и Гитлер. . .

Снова несовместимость!

Снова «анти».

Каждый обход нацистских врачей был смерте-
лен. . .

Доктора-заключенные как могли спасали узни-
ков от этих обходов, тщательно прятали тех, у
кого были шансы поправиться. В течение двух
недель Эйжена и Василия скрывали в больничном
бараке, давали им возможность окрепнуть, на-
браться сил для новых испытаний.

Но настал день, когда рвы смерти снова про-
тивостали траншеям жизни. . .

Настал день селекции!

Настал день отбора на жизнь и на смерть.

Посреди барака установили стол. Охранники заставили хефтлингов раздеться догола и построили их в шеренгу. Тщательно пересчитали арестантское поголовье... Потом пришел врач-эсэ-совец в сопровождении санитаров.

Один за другим подходили к столу больные. Доктор Григоревский-Иоселевич давал объяснения о характере болезни. Объяснения эти эсэсовец выслушивал... Впрочем, он только делал вид, что слушает. У него было три «рецепта», которые подручный санитар по его приказу выписывал на спине или груди заключенного цветным мелком.

— А, — скажет эсэсовец, и санитар выводил на теле узника жирный треугольник с поперечной чертой. Врач не произносил всего слова — Abspritzen! — сделать укол.

Только одна буква «А»!

Только одна...

Один укол бензола!

И крематорий получал новую пищу.

— В, — говорил врач. И на спине больного появилось другое клеймо, означавшее «Blok» — больничный барак, где все-таки сохранялись шансы на жизнь...

... Или на смерть при следующем обходе.

— Т — Transportieren. Это означало, что больного следует транспортировать в рабочую команду — в Штейнбрух или на один из подземных заводов.

Изредка врач-эсэсовец позволял себе маленькие комментарии к бесконечным «А», «В» и «Т»: «Noch jung» — еще молод или «Noch stark» — еще силен...

Так шла селекция...

Так шла сортировка!

Голые жизни стояли в очереди на смерть.

Ребристая грудь скрывала сердце, готовое вырваться к вершинам Альп...

Сколько таких сердец, помеченных буквой «А», уже вылетело через корпус трубы крематория к горным пикам?

И сколько еще улетят!

Эйжен стоял впереди Василия, а перед ним — голая шеренга. С каждым мгновением шеренга уменьшалась и уменьшалась...

Вот уже до столика осталось десять человек...

Десять мгновений весны!

Восемь...

Восемь мгновений лета!

Пять...

Пять мгновений осени!

Два...

Два мгновения зимы!

Одно...

Одно мгновение жизни!

— Transportieren! — слышит Эйжен свой приговор, и на груди, слева, где сердце, появляется клеймо «Т».

А что будет с Васей?

Что!

Transportieren! — Вася получает свое «Т».

Как визу на жизнь!

А срок этой визы...

Неизвестность!

За блоком солнце роняет в песок
Мельчайшее семя надежд на удачу.

Неужели я плачу!

Капо вручил Эйжену метлу и совок:

— У ворот должно быть чисто! Ни соринки!
Понятно!

— Так точно! — Эйжен нахлобучил полосатый берет и отправился к лагерным воротам. Шел и не предполагал, какую страшную встречу ему готовит сегодняшний день...

Между воротами и баней-душегубкой была площадка, на которой обычно ждали своей участи новички.

Сейчас по краям площадки стояла длинная шеренга женщин и детей, прибывших в лагерь

прошлой ночью. Тот же очкастый эсэсовец-сортировщик отбирал на смерть и на жизнь новую партию...

Пожилых, с безумно-отрешенными глазами женщин, чьи дети уже прошли «баню»...

Молоденьких, не утративших еще своего очарования девушек, надеявшихся выжить...

Голенастых, как оленята, девочек-подростков...

Мальчиков и девочек, потерявших матерей.

Привычным жестом эсэсовец направлял одних...

Направо — в «циклон Б»...

Налево — в жизнь.

В «циклон» шли...

Почти все женщины...

Некоторые девушки...

Большинство девочек-подростков...

И все малыши.

Неумолимо!

Неумолимо!

Неумолимо!

Что мог сделать Эйжен? Чем он мог помочь? Чем мог отвести неумолимую смерть!

Он сметал сейчас в совок последние следы на земле...

Последние следы тех, кто когда-то были людьми и кого толкнули в «циклон Б». Сметал...

Кусочки детских одеял...

Упавшую с чьей-то ноги тапочку...

Головку куклы с длинными ресничками...

Пузырек с отбитым горлышком.

Площадь перед лагерными воротами должна быть чиста! Абсолютно чиста! Неважно, что за бараками грудami валялись трупы тех, кто еще час или два назад стоял на этой площади...

Голые трупы пожилых женщин...

Голые трупы девушек...

Голые трупы девочек-подростков.

Голые трупы малышей-мальчиков и девочек!

Это не имело никакого значения! Капо сказал, что площадь должна быть чиста, как парадный плац, как тротуар на Унтер ден Линден.

— Что ты тут делаешь! — по-чешски спросил Эйжена мальчуган лет десяти, стоявший в длинном ряду ожидающих.

— Не мешай дяде работать, Карел. — Девочка чуть постарше держала его за руку. — Вы простите его, он такой любопытный, вечно сует свой нос...

— Я же ничего, Божена... Я хотел спросить только... Кусочек хлеба... Совсем маленький кусочек...

У Эйжена не было ничего! Только метла и совок! Сейчас он отдал бы им все! Готов стать вместо них в очередь... Но и это не помогло бы...

У него не было ничего!

Он смотрел на детей и...

И не находил слов, чтобы сказать...

Он — учитель Эйжен Веверис — не мог объяснить этим детям самого главного, что объяснял им всю жизнь.

Он, прошедший муки смерти, был бессилен перед этой фигуркой мальчика в линялой курточке, из которой тянулась к свету тоненькая шейка с бьющейся голубоватой жилкой...

Он, сполна изведавший свою и чужую боль, был бессилен перед этой девочкой, одетой в ветхое и тесное платьице...

Бессилен потому, что и Карел и Божена смотрели на него глазами, в которых навек застыли...

И старческая мудрость...

И устоявшееся безверие...

И равнодушная скорбь...

И сознательная отрешенность!

Он был бессилен перед этими всезнающими глазами и почувствовал себя стоящим на безмолвном песчаном бугре. А из-под ног его сыпался и уплывал песок — песок отчаяния и ярости.

Немощного отчаяния...

Бессильной ярости.

В мгновение ока Эйжен вспомнил, что однажды уже видел на детских личиках такие же недетские глаза — в Москве, на иконе Донской богородицы.

Здесь, в Маутхаузене, замкнулась цепь времени — времени детства Эйжена и недетского детства мальчиков и девочек, ожидающих «циклона Б».

Этот мальчик и эта девочка, — наверное, брат и сестра — уже не были детьми. Кинутые в антимир, они за неделю (за месяц или год!) успели трижды и четырежды постареть, хотя и уходили из жизни детьми.

Сколько же они должны были пережить, чтобы стать сошедшими с древних икон святыми!

Их звали Карелом и Боженной,
И они ждали
Своей очереди
В газовую камеру.

— — — — —

О какой камень
Разбить мне
Свои бессильные руки!

АВТОР — ЭЙЖЕНУ ВЕВЕРИСУ

По возрасту ты мне годишься в отцы. Я родился через год после того, как ты начал учительствовать в Лапмежциемсе.

Но наши биографии — очень несхожие по внешним признакам — скрестились. Не только теперь, когда я пишу эту книгу, а гораздо раньше — в тридцатых годах. Потом — мы, конечно, не подозревали этого — их скрестила война.

Мне было девять лет, когда отца отправили в командировку в Германию. Жили мы сначала в Берлине, в самом его центре, а потом — в Гамбурге.

Я ходил в обыкновенную немецкую школу, сидел за одной партой с обыкновенными немецкими ребятами. Тогда я не очень-то понимал, что происходило вокруг. Мальчишеская моя память фотографировала...

Горящий рейхстаг...

Предвыборные листовки на берлинских улицах...

Еврейские погромы...

Разъезжавшего по Гамбургу фюрера в открытой машине...

Директора школы господина Паулсена с черным крестом на крахмальном воротничке сорочки...

Учителя господина Фогеля со шрамами на щеках...

Церемонию подъема флага со свастикой на школьном дворе (как иностранный подданный я был освобожден от участия в ней) и песню «Хорст Вессель»...

Разгром советского клуба в Гамбурге и карикатуру Бориса Ефимова по этому поводу в «Правде». На верхнем этаже этого клуба мы жили...

Бесчисленные факельные шествия.

Моя память фиксировала. Но сам я тогда еще не делал ни выводов, ни обобщений из того, что видел на улицах и в школе. Сейчас, когда за моими плечами война, когда не проходит и дня, чтобы мне не пришлось вспомнить своих товарищей, убитых фашистами, когда все чаще и чаще дают о себе знать дистрофия и цинга, пережитые в болотах под Старой Руссой, когда перечувствовано очень и очень многое, я понимаю, Эйжен, что жил тогда в мире обыкновенного фашизма. Михаил Ромм очень точно назвал свою картину — «Обыкновенный фашизм». Я смотрел ее несколько раз и словно бы видел себя — мальчишку — на улицах, где маршировали эсэсовцы; на площадях, где они сжигали книги и стрункой вытягивались в фашистском приветствии. Я узнавал обыкновенные лица обыкновенных нацистов, глядевших на меня с экрана, и думал, что когда-то встречался с ними глазами в магазинах или метро. С юнцами, одетыми в коричневую форму гитлерюгенда, я ходил в одну школу, слышал их смех, их слова об обыкновенных школьных делах.

Вот уже тридцать лет я думаю об одном и том же: кто из моих одноклассников стреляя или бросал бомбы в меня под Рославлем, Медынью, Смоленском, под Москвой и под Старой Руссой! Кто из них тогда промазал! . .

Кто из них убил друга моего детства Борьку Михайлова в первый день войны!

Кто убил Юрку Ващинского в ее последний день!

Кто искалечил Костю Зорчева!

Чья автоматная очередь навсегда уложила Колю Рыжова!

Чей пулемет скосил Виктора Лукса!

Чья граната взорвалась у ног Цирулиса!

Ведь кто-то из тогдашних обыкновенных школьников местечка Гросс-Хансдорф под Гамбургом, где я учился, кто-то из этих обыкновенных фашистов убил моих друзей. Это мог сделать любой из них! Впрочем, нет — один из нашего класса наверняка не стрелял в той войне. Его звали Енни Хартман. Кроме меня, это был единственный парень, не носивший проклятой коричневой skóry. Именно поэтому я и запомнил его имя и его фамилию. Остальные были «как все», а он — нет.

Остальные стреляли в нас, Эйжен. Да, да — в нас! В тебя и в меня! В тысячи таких же, как ты и я. Может быть, кто-то из моих бывших одноклассников командовал расстрелом в Иршупарке! А в Штутгофе! Разве ты не встречался там с двадцатилетним верзилкой с белесыми глазами и челкой, как у фюрера! Не помнишь! А я говорю — встречался! И получил от него не один удар гуммой... Среди эсэсовских охранников Маутхаузена наверняка был толстый флегматик, еще в мальчишестве отличавшийся непомерным аппетитом и драчливостью. Однажды я съездил его по лоснящейся физиономии и дело дошло чуть ли не до «дипломатического» скандала, поскольку папенька этого толстяка оказался каким-то фюрером местного значения. Не за мою ли пощечину он бил тебя, Эйжен, на каменных ступенях смерти!

Вот где скрестились наши биографии! Вот где они встретились впервые!

А тот хромоногий охранник, что послал тебя подметать мусор у лагерных ворот, — разве не с ним я учился в гамбургской школе перед самым возвращением в Советский Союз! Помнится, он любил напевать строчку из народной песни:

... Die Gedanken sind frei! ...*

Да, «мыслил» он свободно, когда дело касалось расправы над слабым, когда можно было ударить и не получить сдачи.

Вся система школьного воспитания строилась на этом принципе — бей, пока можешь! Ничего не скажешь — руки и ноги у тех ребят были крепкие! Каждый день у нас было по два-четыре урока физкультуры. Не просто гимнастики, а настоящей солдатской физкультуры, в которую входили и метание гранат, и преодоление штурмовой полосы, и окапывание. . . Из тех ребят делали солдат — солдат фюрера. Арифметика! Чистописание? Да, конечно. Но в умеренных дозах. Зато легенды о Нибелунгах — разумеется, одобренные арийской теорией, — каждый день. Отлично помню, что на уроках географии Германия выглядела самой большой страной Европы, поскольку в ее границы включались и Чехословакия, и Польша, и Австрия, и часть Франции. Я уже не говорю о Прибалтике. И это — за три-четыре года до начала войны!

Я не собираюсь здесь вдаваться в подробности воспитания из обыкновенных ребят обыкновенных фашистов. Просто как свидетель я хочу подтвердить уже доказанную истину: фашизм — это целая система человеконенавистнических теорий, подкрепленных каждодневной практикой. Фашизм лишил детей детства и превратил их не просто в слепых исполнителей чужой воли, чужих приказов, а в двуногих существ, сознательно сеющих смерть во имя победы идей фюрера, ставших идеалами каждого из этих существ.

* Мысли свободны!

Я видел, как эти идеи закладывались в головы мальчишек и девчонок, как этими идеями, овеществленными в военную технику, уничтожалось все живое на нашей земле. Ты, Эйжен, перечувствовал их своими плечами, своими муками в фашистских «кацетах».

Значит, снова скрестились наши биографии. Да они и не могли не скреститься!

В годы моего детства отливались те пули, снаряды и бомбы, которые в годы моей юности, а твоей, Эйжен, зрелости поражали тебя и меня, тысячи людей наших поколений. Поэтому мы не могли не встретиться.

Сейчас, когда я пишу эти строки, кое-где снова превращают обыкновенных ребятишек в обыкновенных убийц. Снова льются пули, снаряды и бомбы, чтобы сразить нас, наших детей и внуков. Неужели их биографии скрестятся на войне? Неужели им придется пережить то, что пережили мы с тобой!.. Не хочется думать об этом, но не думать нельзя...

После лагерной больницы Эйжен и Вася оказались в Мельке — одном из филиалов Маутхаузена.

Снова началась подземная жизнь. Не было ни дней, ни ночей — сплошные сумерки, в которых, как тени, шевелились люди. В тусклых отсветах электрических лампочек, нескончаемой гирляндой тянувшихся по гулким туннелям подземного завода, Эйжену порой чудилось мерцание далеких звезд — звезд Латвии, которые...

Которые когда-то были...

И которых не стало.

Да, теперь над его головой были только камни. Камни...

Камни...

Камни!

Каменные казематы Валмиерской тюрьмы теперь показались Эйжену давним сном — жутким, но все же не идущим в сравнение с явью мельк-

ских подземелий. Там хоть изредка, но показывалось солнце, там было родное небо — пусть порой только угадываемое. Здесь на него вечно давили каменные своды, в которых не было ни единого просвета...

«Одеты камнем» — неожиданно вспомнит он когда-то читанный роман Ольги Форш и, хотя не сможет воскресить в памяти его содержание, само название этого произведения надолго (если не навсегда) будет в его сознании стоять рядом с коротким, как вскрик, словом «Мельк».

Одеты камнем!

За этим камнем, в неведомой дали, был родной дом.

Были близкие и родные...

Были дороги, по которым он ходил...

И по которым хотел пройти.

Было прошлое!

Эйжен вырывал из этого прошлого то, что помогло ему пережить настоящее...

Людей...

События...

Стихи...

Книги...

Песни...

Рисунки.

Но настал день, когда Эйжен с ужасом обнаружил, что память — его верный и вечный союзник — начала ему изменять. Однажды, в короткую минуту отдыха, он принялся рассказывать Василию о пережитой в детстве трагедии расстрела демонстрации рабочих на набережной Даугавы. Начал рассказывать и вдруг запнулся... Как же звали дядю — брата матери, который взял его тогда с собой? Всю жизнь он помнил его имя, а теперь... Силился, перебирал в уме множество имен, но ни одно не было тем нужным, за которым всегда стоял высокий, чуть сутуловатый... Как же звали его?

Он мучился целый день, но так и не вспомнил...

А еще через какое-то время вдруг обнаружил,

что забыл, как звали мать. Имя самого дорогого человека, чей образ, чьи песни и глаза он пронес через все испытания — имя ее он забыл!

Ему стало страшно! Первый раз за всю жизнь по-настоящему страшно. Эйжен вдруг отчетливо понял, что есть нечто более ужасное, чем бред сумасшедшего, — это помешательство при полном сознании.

Эти камни отнимали у него самое главное, без чего человек — не человек, — прошлое. Они начали с имен самых дорогих людей — матери, отца, дяди, жены и детей, а кончат...

Чем они кончат!

Неужели камни лишат его памяти? Превратят в существо, безликое и безмолвное, как они сами!

А может, надо было жить как-то по-другому, как-то совсем иначе, чтобы не мучиться среди этих камней? Может, зачеркнуть прошлое? Забыть его, как уже забыты многие имена!..

Эх, дьявол!
Неужели
Надо издохнуть,
Чтобы узнать,
Как надо жить!

Эйжен наверняка помешался бы, если бы рядом не оказался человек...

Все звали его Старостиним. Яковом Никитичем Старостиним. Под этим именем он числился в лагерных списках за номером Р-133042.

Но узник Р-133042 не был Яковом Никитичем Старостиним. Он был советским разведчиком полковником Львом Ефимовичем Маневичем. Старостин — это его последний псевдоним, как и имя и отчество, взятые у старого доброго друга. У Маневича на его долгом пути разведчика были и другие имена...

Этьен...

Конрад Кертнер...

Чинкванто Чинкве...

Яковлев...

Эйжен и Старостин сошлись и подружились как-то сразу. Человек проницательный и вдумчивый, Старостин обладал удивительным даром располагать к себе людей. Талант этот равно годился разведчику при встречах с врагами и друзьями. Только с единомышленниками Старостин разговаривал, не скрывая доброй улыбки, которая скрашивала его суховатое лицо, придавала ему задорно-мальчишеский вид. От этой улыбки, таившейся то в уголках припухлого рта, то в глубине прищуренных глаз, у собеседников неизменно светлело на душе. С этим человеком, припомнит Эйжен много лет спустя, нельзя было быть полукровенным, нельзя было не раскрыться полностью.

Широко образованный, знавший чуть ли не все европейские языки, Старостин никогда не кичился своими знаниями. Наоборот, в разговоре с любым человеком по профессиональной привычке не то чтобы скрывал, а как-то очень тонко и чутко отодвигал свои знания, свой опыт на задний план, одновременно давал развернуться собеседнику. Он умел слушать и палермского рыбака, и познаньского сапожника, и лурдского официанта, и оршского железнодорожника, и пражского профессора-лингвиста. Эйжену покажется, что в своей жизни Старостин успел перебивать во всех этих профессиях, настолько точны и выразительны были его короткие реплики-вопросы, настолько глубоки были его знания и опыт.

При первой же встрече Старостин искоса взглянул на букву «L», нашитую на куртку Эйжена, и, словно бы мимоходом, спросил:

— Литовец!

— Латыш.

— Значит, «гал-галакаешь»? — улыбнулся и ушел прочь.

«Странный человек, — подумал Эйжен. — Что это еще за «гал-галакаешь»? Но через час или два вдруг понял: «гал-галакаешь» — это юмористически русифицированное «galu galā» — в конце

концов, — кое-кем нередко к месту и не к месту употребляемое в латышском разговорном языке. Значит, сделал вывод Эйжен, этот человек близко знал каких-то латышей, раз подметил этот языковой нюанс...

— Галу-гала, откуда вы взяли наши словечки! — спросил Эйжен Старостина при следующей встрече.

— Были у меня два знакомых латыша с одинаковыми березовыми фамилиями, — снова улыбнулся Старостин. — Как сойдутся, так и начинают «гал-галакать».

— Их звали Берзинями! — машинально спросил Эйжен.

— Ты очень проницателен, — не без иронии ответил Старостин. — Именно Берзинями. Один был Ян, а другой Эдуард*. Не приходилось слышать!

— Нет, этих я не знал. А других... Их, как Ивановых или Петровых, — никто не сосчитает. У нас в полку было не меньше десятка.

— В каком это полку?

— В пятом Земгальском красном латышском полку.

— Так что же, ты, выходит, красный латышский стрелок?

Эйжен увидел, как потеплели глаза Старостина.

— Бывший!

— Нет, брат, шалишь! Красный стрелок — это навсегда, на всю жизнь...

Так состоялось их знакомство. Ему — они этого еще не знали там, в подземелье Мелька, — суждено было превратиться в крепкую дружбу...

Дружбу до конца...

До последнего дыхания!

Дружба эта сцементировалась совместным участием в лагерной организации Сопротивления, которую возглавлял Старостин. Эйжен стал активным членом этой организации. Через него Старос-

* Старостин имел в виду однофамильцев Яна и Эдуарда Берзиней, известных советских разведчиков.

тин поддерживал связь с группами Сопротивления, имевшимися в каждом бараке, на каждом участке обширного фронта работ, которые выполняли узники Мелька.

— Запомни, — говорил Старостин, давая Эйжену очередное задание, — в бараке итальянцев надо найти рыжего Мартино и сказать ему следующее... — Тут следовали три-четыре скудных итальянских фразы, смысл которых Эйжен не понимал, но за которыми (он знал) скрывается то тайный склад оружия, припасенного узниками, то дополнительное питание для незнакомого человека, то суровый приговор предателю.

Как-то Эйжен попробовал узнать у Старостина, что означали эти словесные шифровки.

— Лучше тебе их не знать, Эйжен. На всякий случай, понимаешь? — Старостин закашлялся. Он уже тогда был очень и очень болен. Когда приступ кашля кончился, улыбнулся. — Гал-гала, ты делаешь большое дело. А это главное. А подробности... Подробности мы станем вспоминать после войны.

Что ж, он, наверно, был прав, этот конспиратор, набравшийся опыта не из учебников, не из успехов или провалов своих незнакомых коллег разведчиков (хотя и это было), а своим умом, своими силами и своими способностями коммуниста-организатора.

В памяти Эйжена отчетливо и зримо запечатлится одна ночь у бетономешалки.

Одна ночь, в которой вспыхнет свет...

Свет жизни Якова Старостина...

И которая сделает Эйжена Вевериса коммунистом задолго до официального вступления в партию.

Они работали тогда в ночную смену. Их было двое, обслуживающих бетономешалку, установленную в громадной шахте. Машина урчала и хрипела, содрогаясь своим металлическим телом. А они говорили...

Точнее, говорил Старостин, а Эйжен слушал. Что послужило конкретным поводом для этого

откровенного рассказа Старостина о самом себе, — Эйжен впоследствии не вспомнит. Исчезнут и многие детали этого рассказа, но главное он бережно сохранит на одном из островков своей памяти.

Это была словно бы очная ставка Якова Старостина — Льва Маневича — с самим собой. Очная ставка, свидетелями которой стали...

Эйжен Веверис...

Громяхающая бетономешалка...

И камни Мелька, проклятые небом и людьми.

Перед Эйженом, чуть ссутулившись, сидел изможденный узник в полосатой форме, но по мере того как развивался рассказ, он видел этого человека то голоштаным пареньком из белорусского городка Чаусы, то комиссаром бронепоезда, то слушателем первых курсов военной академии. Перед Эйженом разворачивалась биография, в чем-то очень схожая с его собственной, — как-никак они были людьми одного поколения и жили его заботами, его стремлениями, идеями и муками — и в то же время очень своеобразной, неповторимой. Неповторимость эта шла от профессии Маневича — профессии разведчика. О том, чем он занимался в бурные предвоенные годы, разъезжая по странам Европы, Старостин почти не говорил. Сказал только, что был в Испании, в тылу фашистов выполнял какое-то задание... Зато много и подробно рассказывал о Париже, Лондоне, Риме. Говорил о встречах с людьми («какие это ребята, Эйжен!»), которые еще в начале тридцатых предвидели то, что случилось в сороковые годы... Говорил о равнодушии, родившем в мещанских своих болотах («сколько раз я там бывал, Эйжен, по роду службы!») будущих штурмовиков-фюреров и фюрера главного — Адольфа Гитлера-Шиккельгрубера.

— Не дай бог, Эйжен, если после нашей победы такие болота снова окажутся на земном шаре. Тогда нам с тобой снова придется спасать людей. Спасать от равнодушия, от скуки, от всяких и всяческих пороков. Ну почему огромная

масса людей не желает утруждать свой мозг, не желает думать! Почему она слушает кликушествовавших пророков-себялюбцев и не желает прислушаться хотя бы к голосу собственной совести! Ведь это ложь, что человек — зверь. Зверем его делает равнодушие в мыслях, в поступках, в отношениях друг с другом. Надо чтобы человек страдал! Да, да, страдал — от боли роста, от доброты, чтобы старость нашу сокрушали не болезни, а удары собственного сердца...

Потом Старостин рассказал о своем аресте, о том, как скитался по тюрьмам Милана, Неаполя и Турина, какими тягучими были дни в римской тюрьме Реджина чели и Кастельфранко дель Эмилия, как сидел в крепости в Гаэте, как уже было вырвался на свободу, но был схвачен немецким патрулем и через Вену (над ним тяготел смертный приговор) препровожден сюда, в Маутхаузен...

— Хочется жить, чтобы добить фашизм. Я присутствовал при его рождении. Поэтому хочу вколотить свой гвоздь в его гроб.

— А я, — негромко сказал Эйжен, находясь под впечатлением рассказанного, — я хотел бы стать коммунистом.

— Можешь считать, что я дал тебе рекомендацию в партию. Выйдем на свободу — оформим...

Но этому не суждено было совершиться. Полковник Маневич умер в День Победы.

Он так долго нес по жизни
Бремя наших бед
И судеб,
Что при одном прикосновении
Легкого луча свободы
Рухнул.

Но перед этим Эйжену суждено было пережить еще одну смерть.

Было это в феврале сорок пятого...

Как обычно, в тот день он с утра отнес оче-

редную словесную шифровку Старостина в команду польских парней, вгрызавшихся в каменную стену отдаленной штольни тупыми кирками. Фамилию одного из поляков Эйжен уже знал — Циранкевич.

Передал ему слова Старостина...

Получил ответ...

И возвращался...

Когда за крутым поворотом каменного коридора лицом к лицу столкнулся с верзилкой капо.

— Ты что тут шляешься, очкастая свинья! — заорал капо. — От работы отлыниваешь...

Удар пришелся в висок, и Эйжен упал. На грани беспамятства почувствовал удары сапожиц в спину, в грудь...

Очнулся. Кто-то вытирал мокрой тряпичей его лицо. По рукам узнал Василия Кумачева. Попытался разглядеть его лицо — не смог.

— Очки! Где мои очки!

— Нету их. Растоптал капо.

— Надо достать новые, — услышал Эйжен голос Старостина. — Попробуем отправить тебя в русский лагерь, к доктору Григорьевскому. Он поможет. Заодно передашь ему следующее...

Вот так Эйжен снова оказался в центральном лагере Маутхаузена.

Снова руками врачей, наполненными солнцем, возвращался к жизни.

Доктор Григорьевский повел его на склад, где на полках с дотошной немецкой аккуратностью были разложены тысячи и тысячи очков, которые когда-то принадлежали людям. От тех людей остался только пепел и эти вот очки...

Эйжен выбрал самые простенькие, лежавшие в незамысловатом металлическом футляре.

Какими глазами смотрел на мир их прежний владелец!...

Кем он был!

Французом!

Русским!

Венгром!

Бельгийцем!

Что он видел!

«Наверно, то же, что и я, — подумал Эйжен, — и поэтому стал пеплом...»

— Ну вот, ты снова стал зрячим, — сказал Старостин, которого к этому дню также положили в больницу. Он кашлял все больше и больше. — Сходи, пожалуйста, к французам, передай...

Новое задание!

Жизнь продолжалась!

В ту ночь, с 17 на 18 февраля сорок пятого года, с альпийских вершин, зубцами упиравшихся в холодное небо, дул резкий, злой ветер.

С вечера узников согнали на аппеле для проверки. Эйжен стоял, переминаясь с ноги на ногу, сиюсь сдержать в себе накопленное за день тепло. А оно уходило и уходило...

Вспомнил Штутгоф — морозный, заиндевелый. Как и тогда, мысли начали сбиваться, замерзать, еще не родившись.

Вдруг вдали, правее лагерных ворот, возле каменной стены, которую отсюда не было видно во мраке ночи, послышались крики и какое-то свистящее шипение, происхождение которого Эйжен тогда не понял.

Но тут вспыхнули прожекторы, и все стоявшие на аппеле не увидели, а скорее почувствовали происходящее. Потом немногие очевидцы рассказывали, как...

Как по ледяному катку, сверкавшему всеми цветами спектра — от красного до фиолетового, — метались голые люди...

Метались между стеной бани и стеной камней, сиюсь подняться, спастись от острых, как жало, струй ледяной воды, бивших из брандспойтов...

Гоготали, ржали эсэсовцы, напором воды сбивая с ног тех, кто еще пытался встать...

Один за другим превращались в ледяные изваяния люди...

Один за другим замерзали их крики...

Крики проклятья!

С отчетливостью, которая сохранится в нем

навечно, Эйжен не увидел даже, а ощутил изможденного седоволосого человека, упиравшегося в чернокаменную стену. Он был прикован к стене ледяной цепью, а острые и холодные клювы терзали и терзали его иссушенное мукой тело...

Человек этот кричал! Нет, он не проклинал палачей! Он обращался к оставшимся в жизни! В последней несломленной гордости, в последних силах и словах своих он был с теми, кто оставался на земле:

— Бодрей, товарищи! Думайте о своей родине, и мужество вас не покинет! Бейте фашистов! Бейте!..

Кто был этот старик, медленно и неумолимо превращавшийся в ледяной памятник!

Карбышев! Дмитрий Карбышев! Советский генерал!

И были эти слова, передававшиеся из уст в уста, как знамя, как факел в ночи.

А вода лилась,
Лилась, лилась, лилась...
И лед схватил его,
Как пламя схватило Джордано Бруно.

Так погиб Прометей...

Прометеем двадцатого века назовет Эйжен генерала Дмитрия Карбышева в своих стихах.

И он действительно был им — этот невысокий плотный человек, прошедший по жизни без компромиссов. Инженер-фортификатор с мировым именем, Дмитрий Карбышев был русским интеллигентом — талантливым и трудолюбивым, сердечным и скромным. Профессор и доктор военных наук, он был достоин высоты, на которую его подняли народ, его собственная совесть и борьба с силами тьмы и зла.

Да, он нес людям свет — свет знаний, свет мужества, не сложенного ни посулами врагов, пытавшихся превратить его в предателя, ни пытками, ни смертью своей.

Смерть генерала Карбышева должна была

устрашить оставшихся в живых, сломить их волю...

Смерть Прометея, его вечно немеркнущая боль пробудила в оступевших, отчаявшихся в безысходности происходящего новые и новые силы...

Силы Сопротивления.

Ушел из жизни Прометей...

Осталась лагерная организация Сопротивления.

Умерло ли вместе с ним дело, которому он отдал жизнь?

Нет! Оно продолжало крепнуть.

Смерть Прометея не могла остаться бесследной! Он оставил людям свою боль, свой гнев, свою ярость и...

И свою доброту...

И свою любовь...

И свою борьбу.

Он оставил на земле своих сыновей — русских и югославов, чехов и французов, латышей и венгров, украинцев и поляков...

Он оставил на земле сыновей!

Это они (вскоре Эйжен узнает) подняли восстание в блоке № 20.

То был штрафной блок в штрафном лагере. Его обитателей — советских офицеров, югославских партизан и участников варшавского восстания — на работу не выводили. Блок был окружен дополнительной трехметровой оградой, на него были постоянно нацелены особые пулеметы и особые автоматы.

Редкий из узников этого блока погибал в газовой камере. «Циклон Б» казался лагерному начальству малоэффективным для обитателей двадцатого блока. С них — живых! — стягивали кожу. Их — живых! — замораживали в специальных ваннах. Из них — живых! — капля по капле выкачивали кровь. На них — живых! — испытывали препараты медленной или мгновенной смерти...

И вот двадцатый блок восстал!

Всем, что нашлось под рукой — палками, деревянными колодками, кусками угля, камнями, — перебили блоковых капо и с криком «ура!» — как в атаке — выбежали во двор.

Охранники открыли огонь. Но разве можно остановить Прометеев, когда они восстают!

Разве остановишь Прометеев, когда они идут в свою последнюю атаку!

Собственными телами они замкнули ток, пущенный через колючку. Во всем лагере свет погас.

Перебив охрану, смертники вырвались на волю. Их ловили по горным тропинкам, полуживых приволакивали обратно в лагерь, зверски казнили. Сам Франц Цирайс объявил: все до единого беглецы пойманы и примерно наказаны.

Это была ложь!

Очередная ложь!

После войны Эйжен узнает имена тех смертников, кто вырвался на свободу: Виктор Украинцев, Иван Батюшков, Владимир Шепетя, Иван Бакланов, Владимир Соседка и другие.

Да, их была горстка — оставшихся в живых! Гораздо больше погибло в неравной схватке.

Но они доказали — смертью и жизнью доказали! — что люди остаются людьми даже в Маутхаузене.

Умер Прометей, остались на земле...

Прометеевы сыновья.

Разве, много позднее спросит себя Эйжен, участники лагерного Сопротивления не были сыновьями Прометей?

Были!

Были!

Были!

Каждый в отдельности и все вместе!

Разве те два моряка...

Нет, почему только два! Те двое завершили то, что начал весь их отряд.

В один из дней в лагерь пригнали отряд моряков — человек сто, одетых в рваные форменки и бескозырки. Эйжен увидел, как у Васи Кума-

чева загорелись глаза: свои братишки! Свои! Они им покажут, этим капо и эсэсфюрерам.

И действительно, показали!

Отряд шел между бараков, плотно сомкнув ряды. Шел развалистой походочкой, молчаливо насупив брови.

Лица в кровоподтеках...

Лица в шрамах...

Лица в грязных бинтах.

Более сильные несли на руках слабых. Некоторые шли, еле переставляя ноги, но держали строй.

Вдруг один упал...

К нему подбежал эсэсовский офицер, ударил плетью. Замахнулся, чтобы ударить еще...

Отряд остановился...

Отряд повернулся к офицеру...

Отряд зарычал...

Эйжену послышалось: опять грохотал по врагам Малахов курган!

Застыла в воздухе поднятая для удара плеть.

Страх исказил лицо офицера!

Страх!

Моряки подняли упавшего товарища, печатая шаг, двинулись дальше.

Этих не сломишь! Этих можно убить, но не поставить на колени!

Рядом с ними хотелось жить.

Рядом с ними хотелось идти.

В одну из ночей, когда Эйжен был уже в Эбензее — крупном филиале Маутхаузена...

В одну из ночей он стал свидетелем нового подвига.

Длинную колонну узников гнали с работы по извилистой горной дороге. По одну ее сторону тянулась глубокая пропасть. По другую — три ряда колючей проволоки под током. На столбах — электрические лампочки, светящиеся синеватым пламенем.

Длинный ряд огней, ведущих в тьму...

Избитая колодками дорога...

Моросящий дождь, шептавшийся в этом аду совсем как на земле...

Нескончаемая колонна заключенных, усталых и продрогших...

По бокам — конвоиры.

Эйжен шел, считая и не считая шаги-секунды. Шел сквозь время, что еще не пройдено и которое предстояло пройти.

Уже год он был в Маутхаузене.

Целый год...

Как вечность!

Ведь время здесь мерилось не обычной мерой, а секундами, минутами или часами, вырванными у смерти. В Маутхаузене, думал Эйжен, как впрочем и в любом другом лагере, прожитая минута могла быть и часом, и сутками, и месяцем. Потому что каждая из них старит нас безвременно. Даже редкие радости здесь к нам беспощадны.

Он шел по дороге, окольцованной синеватым пламенем и тьмой, считая и не считая шаги...

Вдруг в невидимом небе послышался нарастающий гул самолетов. Впереди, где лежал городок Эбензее, раздался вой сирен, мгновенно погас свет вдоль дороги.

— Воздушная тревога! — заорали конвоиры. — Ложись!

Да, по лагерным правилам в случае налета «вражеской авиации» хефтлингам полагалось тут же упасть на землю и лежать до новой команды.

Колонна послушно легла на мокрую дорогу. Но двое...

Двое не легли.

Они шли немного впереди Эйжена, эти два моряка, не сменившие бушлаты на полосатые куртки. В наступившей вдруг крошечной тьме Эйжен каким-то вторым зрением увидел (или угадал?)...

Как два моряка сняли с ног тяжелые колодки...

Кто-то из них ударил конвоира по голове...

С упавшего фашиста мигом стащили шинель...

Забрали автомат...

Шинель набросили на колючку, из которой был выключен ток...

Два сильных тела ловкими тенями перескочили через первый ряд проволоки...

Потом (Эйжен услышал, как затряслась проволока) через второй и третий...

— Держись, братва! — сначала раздался призывный крик из темноты, а затем — короткая автоматная очередь, уложившая одного из конвоиров, застывшего на дороге.

И наступила тишина.

«Безумству храбрых поем мы песню!»

Редкостный по мужеству побег удался. Ни на следующий день, ни позже начальство лагеря не выстроило узников на аппеле, чтобы по обыкновению публично казнить беглецов.

Побег удался!

Как звали двух моряков, ушедших на свободу, — никто не знал. Но и безымянные, они были истинными сынами генерала Карбышева...

Сынами Прометея!

Неизвестные, они громко и властно крикнули во мраке ночи:

Последний парад наступает!

Последний парад наступил!..

И снова пришла весна...

Обычная своим солнцем, пестротой красок, курчавостью своих облаков.

И необычная...

Потому что то была последняя военная весна.

Ночами, когда затихал шум лагерной жизни, узники все отчетливей и отчетливей слышали гул приближающейся канонады.

Эхо канонады сотрясало базальтовые скалы лагеря, и в людях вновь и вновь пробуждались надежды на жизнь. Штаб лагерного Сопротивления понимал: с приближением фронта фашисты наверняка попробуют уничтожить не только

баракы, газовые камеры, крематории и казематы, но и самих заключенных — свидетелей злодеяний. Преступники всех времен и народов всегда замечали следы. Через верных людей в лагерных канцеляриях штаб вскоре узнал: имеется специальное распоряжение Берлина всех до одного заключенных загнать под землю и взорвать.

В Маутхаузене и его филиалах шла усиленная подготовка к восстанию. Создавались отряды во главе с опытными офицерами. Каждый отряд разбивался на пятерки, которыми руководили проверенные подпольщики. Накапливалось оружие...

Маутхаузен готовился к восстанию...

Маутхаузен готовился к атаке.

Приближался и приближался фронт...

С ним, подумает Эйжен в один из светлых апрельских дней, шла и весна.

И снова была дорога на Эбензее...

Снова стучали по ней деревянные колодки...

Но в этом стуке теперь каждый слышал уже не безнадежную отрешенность, не отчаяние и муку, а надежду...

Надежду на завтрашний день...

Надежду на свободу.

Потому что, показалось Эйжену, колодки стучали по каменистой дороге не разобщенно и беспорядочно, а в единый такт, в единый ритм.

Нет, недаром жили на земле Прометей!

Плоть от плоти, кровь от крови людской, они — мертвые и живые — шли сейчас во главе колонны узников.

И еще подумает Эйжен на этой дороге в Эбензее: как много света и красоты может быть даже в несчастьях, если у тебя терпеливое доброе сердце, если бьется оно в лад с другими сердцами, если у тебя чистая совесть и идешь ты рядом с честными людьми.

Была дорога на Эбензее, по которой они шли на свой последний парад. Тот парад был совсем близок.

Совсем, совсем близок!

На развилке двух дорог колонна остановилась.

И тогда идущие впереди увидели...

Как на их дорогу вливается другая колонна...

Колонна детей-узников!

Одетые в рвань, а то и просто голые, изможденные, с ослепленными в страданиях глазами, шли дети.

Шли молча, беззвучно...

Шли так, будто несли на плечиках все тягости войны, все бремя мук человеческих.

Шли...

Шли...

Шли дети лагерей смерти.

Несли на слабых плечах малышей, еле двигая тонюсенькими ножками, обутыми в тяжелые колодки.

Нет, скажет себе Эйжен, не малышей держали эти дети и подростки на своих руках! Будущее...

Будущее всего человечества несли они по этой дороге смерти.

Где, в каких даях человеческой истории были такие детские колонны с иконописными лицами мальчуганов и девчуток, держащих на руках будущие поколения...

Ньютонов...

Свифтов...

Менделеевых...

Гайднов!

Нет, не была написана еще такая страница в миллионах страниц истории человечества!

Ее писали сейчас эти...

Эти мальчишки...

И эти девочки!

И вдруг в едином порыве, не слушая криков охраны, вся колонна взрослых узников бросилась к узникам-детям...

Костляво-сухие руки мужчин хватали костлявые детские тельца, прижимали их к себе, прикрывали куртками, согревали бешено бьющимися сердцами.

Кто сказал, что хефтлики отупели!

Кто сказал, что миска гнилой картофельной
кожуры дороже жизни соседа!

Кто сказал, что исчезла красота человеческая!

Кто посмел это сказать!

Человек оказался Человеком!

И он понес на своих руках Жизнь...

Колонна взрослых удвоилась. Теперь по дороге
на Эбензее шагали не просто узники с приши-
тыми к груди номерами. Теперь по ней шли
борцы...

Борцы всечеловеческого Сопротивления фа-
шизму...

Вобравшие в себя удары маленьких детских
сердец Надежды.

И мы собираем все удары
В единую грозовую тучу
Над Маутхаузенем.

И пришел тот день...

День, Которого Все Ждали!

С утра заключенных построили на аппельплаце
перед дощатым возвышением, с которого обычно
зачитывали смертные приговоры. Сейчас здесь
стоял лагерфюрер Антон Ганц с ближайшими
помощниками. Помост окружало плотное кольцо
эсэсовцев. С лагерных вышек ощерились пу-
леметы...

Дождавшись абсолютной тишины, Антон Ганц
заговорил:

— Meine Herren!*

Вот так, подумал Эйжен, мы уже стали «госпо-
дами». Никогда это обращение не было в ходу...
Мы всегда были свиньями, ублюдками, больше-
вистской сволочью, недоносками, падалью — всем
чем угодно, но не «господами».

— Война еще не окончена, — продолжал
Ганц. — Еще возможны всякие случайности. По-
этому я считаю своей первейшей обязанностью

* Господа!

спасти вас, господа... Мне был дан приказ перебить всех узников. Я отказался его выполнить, считаю это преступлением. Но я хочу избавить вас от опасности... Приказываю: всем заключенным спуститься в штольню, — он показал рукой в ее направлении, — и терпеливо ждать. Мы же — ваша охрана — будем насмерть биться с русскими или американцами — смотря по тому, кто из них первым придет в Эбензее... Соблюдайте порядок и спокойствие! Спокойствие и порядок!

Короткая речь лагерфюрера была очередной провокационной ложью. Еще третьего мая — два дня назад — штаб Сопротивления узнал, что в узком кругу приближенных Ганц говорил совершенно противоположное: «Ни один из них не выйдет отсюда живым». По его приказу штольня, в которую сейчас собирались загнать хефтлингов, была заминирована. Десяток подрывников-эсэсовцев были готовы в любую минуту взорвать десять-одиннадцать тысяч заключенных.

Лагерфюрер закончил речь и стоял, дожидаясь, пока ее переведут на несколько языков. Но вот и эта процедура окончилась. Аппельплац замер в тишине.

И тут Эйжен услышал спокойный и уверенный голос Якова Старостина:

— Никто в штольню не пойдет! Вы хотите там всех похоронить! Мы останемся здесь! Ни шагу из лагеря!

Эйжен увидел, как автоматы охраны нацелились в Старостина. Но несколько узников выступили вперед и заслонили собой говорившего. А Старостин продолжал выкрикивать свои призывы по-русски, по-итальянски, по-польски, по-французски...

Когда последнее слово было выкрикнуто, над аппелем повис мощный, на разных языках, крик:

— Не пойдем! Не пойдем! Не пойдем!

Строй сломался. Вместе со всеми Эйжен потянулся к помосту...

Вот уже только два-три метра отделяют передние ряды узников от стволов автоматов...

Грозно и неумолимо надвигался на фашистов вал заключенных.

Девятый вал их ярости, муки и ненависти!

Еще миг, и деревянные колодки — у хефтлинов сейчас не было иного оружия — полетят в сторону плюющих свинцом автоматов. Погибнут, быть может, сотни, но тысячи станут свободными.

Увидев надвигающийся вал, Антон Ганц струсил. Побелевшими губами он выкрикивал какие-то слова о гуманности, о спокойствии, о безопасности хефтлинов. Под конец он сказал, что если «господа» не хотят скрыться в штольне, как это уже не раз практиковалось при воздушной тревоге, тогда он снимает с себя всякую ответственность за сохранение их жизней и она ляжет на тех, кто не согласен выполнить его распоряжение. Потом милостиво разрешил разойтись по баракам, прекрасно, впрочем, понимая, что узники вышли из его подчинения.

Под вечер лагерфюрер Антон Ганц уехал на машине в неизвестном направлении...

Двумя часами позже сбежали охранники-эсэсовцы.

Пора наступила!
Товарищ, вперед,
Редуты неволи сменяя!
Это будет последний...

Пятого мая
Тысяча девятьсот сорок пятого года
Пал Маутхаузен.

ЭПИЛОГ

Да, пал проклятый Маутхаузен!
Так уже пали когда-то...
Бастилия...
Зимний.
Огонь победил Ночь!
Бессильные, вы были сильнее всех смертей.

Вы осветили себе путь самым ярким из возможных факелов. . .

Факелом Прометей!

Что было потом, Эйжен? Путь к отчему дому? Нет, сначала был скорбный путь. . .

По времени он совпал с радостным событием — советские войска заставили капитулировать «тысячелетний рейх». Такова уж жизнь: счастье и радость шагают в ней рядом со скорбью и горем. В то время, как весь мир салютовал Победе над фашизмом, вы салютовали у открытой могилы. . .

Салютовали Якову Старостину — Льву Маневичу на кладбище в Штейнкогле*. В жизни и смерти вы были с ним до конца.

В лагерях смерти, сказал ты себе, Эйжен, гибли тысячи. И среди них были лучшие, державшие знамя Свободы, державшие первенство по доброте, по мужеству и по сознательной жертвенности.

Потом был путь в Латвию. Ты рассказывал мне, с каким нетерпением отсчитывал перестуки вагонных колес на стыках. И я хорошо понимаю тебя, Эйжен, хотя не могу описать переполнявшие тебя чувства. Наверное, это надо пережить самому — освобождение из «кацета», — чтобы точно и ярко написать. Я же представляю себе огромную и рельефную карту восточной Европы — жженной и пережженной военным огнем, по которой ползет железнодорожный состав с такими, как ты, бывшими пленниками фашистов. Из вагонных окон вы видели, какой ценой досталось ваше освобождение, и не могли не думать о тех, кто принес вам свободу. Я уверен, что сейчас — четверть века спустя после Победы — ты, Эйжен, как и я, как сотни и тысячи людей неизменно склоняешь голову перед братскими могилами — вечными шрамами, избороздившими нашу землю. Мы не

* Позже останки Я. Старостина — Л. Маневича перенесли в город Линц, на кладбище Санкт-Мартин, где покоятся павшие советские солдаты.

можем не помнить этих солдат! И передадим эту память нашим детям и внукам.

Из двух тысяч заключенных-саласпилсцев, отправленных в Маутхаузен, в Ригу вернулось тридцать четыре человека.

Тридцать четыре!

Тысяча девятьсот шестьдесят шесть остались Там...

Рига встретила тебя гарью Старого города, вечной зеленью своих парков, обношенной одеждой своих горожан, звоном кирок, разбивающих остатки руин, и рокотом машин на новостройках.

Рига жила!

Рига дышала!

Рига грустила и улыбалась!

Твоя семья, разбросанная войной, собралась под одной крышей. Были...

Алма — жена...

Дайла — дочь...

Ольгерт — сын...

Лаума — дочь...

Вилнис — сын.

И только старшего сына — Гунара — не было. Он стал твоей болью, твоей незаживающей военной раной.

Тебе предложили путевку в санаторий — подлечиться, набраться сил. Ты отказался. Тебе хотелось работать...

Ты истосковался по детям — своим и чужим. По урокам, по хлопанью крышек парт, по ребячьему гомону, по...

Словом, ты хотел снова быть учителем. Почти четыре года ты был в антимире и, вернувшись в мир людей, хотел жить его заботами и радостями.

Ты стал директором одной из пардаугавских школ. Та школа на улице Мазас Алтонавас имела классы и коридоры, учительскую и актовый залчик. Но фактически ты, Эйжен, строил ее заново, как в свое время строил школу Трапенскую. И это приносило удовлетворение.

В сорок шестом ты стал коммунистом, хотя был им задолго до этого торжественного часа в

твоей жизни. Уже на Малой Югле ты был большевиком. А разве в Трапене, когда прятал подпольную литературу, ты не был им! В сороковом на крестьянских собраниях ты тоже был коммунистом. А в сорок первом — на Седаскалнсе! В Валмиере, в Саласпилсе, в Штутгофе и Маутхаузене!

Однажды ты мне сказал: «Мы уходили в фашистские лагеря беспартийными. Вернулись — коммунистами». Это был закон времени. Закон чистой совести.

Нелепо прозвучал чей-то вопрос, когда тебя принимали в партию: «Как вам удалось выжить в Маутхаузене!» Словно бы в «кацетах» выживали только подлецы и предатели! Ты ответил тогда очень точно: «А разве на Мамаевом кургане погибли все солдаты!..»

Помнишь, когда мы с тобой были на читательской конференции в Иецавской школе, круглолицая девчурка со смешными косичками задала тебе такой же вопрос: «Как вы уцелели!..» И ты ответил ей теми же словами, что в сорок шестом: «Не все солдаты погибли на Мамаевом кургане!»

Ты ответил на этот страшный вопрос каждой строкой своей книги, посвященной граниту вечного людского братства — братства по крови.

Теперь, когда я оглядываюсь на прожитые тобой две жизни, когда стопка белой бумаги становится все тоньше и тоньше, я понял, что Эйжен Веверис всегда был солдатом...

Солдатом революции...

Солдатом-учителем...

Солдатом Сопротивления...

Солдатом-поэтом.

Это высокая честь — быть солдатом своего поколения, своего времени. Дается она не каждому и не каждым оправдывается.

Все послевоенные годы ты был учителем.

Каждый день приходил на уроки. И не раз переживал испытанное когда-то в Лапмежциемсе чувство проникновения в детские жизни и души. Может, именно поэтому сам молодец! Может быть, те бесчисленные пардаугавские девочки и

мальчики, что прошли через твои классы и годы, одарили тебя частичками своей непосредственности, своего незатуманенного войной взгляда на жизнь!..

Говорят, учитель продолжает жить в своих учениках. Сколькими же жизнями ты одарил школьников! Не в этом ли предназначение и истинное счастье человеческое, Эйжен!..

Райнис помог тебе сделать первые шаги в поэзии. Звуки тех шагов перекрыло грохотание танков, топот фашистских сапог, визг снарядов и бомб, залпы, расстрелы, крики гибнущих в «циклоне Б». Но они же родили в тебе новую поэзию, чья гражданственная позиция проверялась той нравственной и политической программой, которой ты оценивал свое время.

Ты писал свой «Поэтический дневник узника Маутхаузена» многие годы. Писал в редкие свободные минуты между уроками, писал в трамваях, на прогулках с внуками, ночами...

Писал...

И все эти годы был словно растворен в двух временных измерениях — в прошлом и настоящем. Думая о сегодняшнем дне, вспоминал прожитое. Значит, все эти годы ты продолжал оставаться там — в «кацетах»? Ты добровольно обрек себя на долголетнее заключение, вновь и вновь каждой строкой своей переживал расстрелы и муки.

Сколько же сил вложила в тебя жизнь, Эйжен, если ты смог вернуться назад, в дым крематориев, в душегубки, в ночь! Вернуться для того, чтобы рассказать о пережитом людям!

Ты писал свои стихи, не задумываясь, станут ли они цельной книгой — цельной и по идеям и по форме. Наверное, это закономерно, что когда пишешь, не спрашивать себя: что лежит там, за не родившимися еще строками. Главное понять, почувствовать самому, что твой труд нужен людям. Нужен для того, чтобы из уроков истории были сделаны верные выводы, чтобы грядущие

поколения не переживали ни Саласпилса, ни Штутгофа, ни Маутхаузена.

Ты шел своей поэтической дорогой воспоминаний, осмысливая и переосмысливая прожитое, прочувствованное. Шел от факта к явлению, от явления — к философскому обобщению. По этому принципу строил свои стихотворения, каждое из которых имеет в основе вполне реальный жизненный факт. Говоришь ли ты о лагерных собаках, адресованных терзать людей, о штабелях мертвецов («легки и сухи людские бревна»), подлежащих сожжению, или о тридцати коммунистах, «на заре расстрелянных», ты всегда документально точен.

Но документальность — не самоцель. Она — возбудитель мыслей и чувств, слитых (памятные ладони Райниса, сомкнутые в рукопожатие!) воедино. Это единство пришло не сразу.

В один из дней ты перечитал все написанное. И далеко не всеми стихами остался доволен. Сплошная стопка исписанных листов легла в папку черновиков. Но и те, что казались тогда законченными, в сущности были набросками, разрозненными этюдами будущего поэтического полотна. Между ними — ты это чувствовал — не было той незримой связи, которая объединяла бы все стихотворения в единое целое. Ты понимал, что необходим какой-то стержень, соединяющий все написанное, дающий направление поэтическим поискам.

Ты продолжал писать и писать, втайне надеясь, что одна из рождавшихся строк не просто ляжет в очередной стих, а послужит основой основ всему написанному и ненаписанному.

Ты дождался своего часа!..

Позднего ночного часа, когда в памяти вдруг ожил давний разговор с итальянским поэтом Джулио Мальяно. Ты увидел его черные глаза, прикрытые набухшими веками и вспомнил, как спросил его там, в больничном дворике Russenlager'a:

— Что ты смотришь так на колючку, Джулио!

И услышал хриплый ответ:

— На ней избавление...

Не раздумывая, записал эти фразы, веря, что с них начнется стихотворение об измученном душой и телом человеке, искавшем смерть в смерти. Как и многие заключенные, потерявшие веру и надежду, Джулио видел в смерти единственный способ избавления от мук.

Так начало рождаться стихотворение «Миг слабости» — диалог Надежды и Отчаяния. Отталкиваясь от первых вспомнившихся вдруг фраз разговора с Джулио, от факта, ты продолжил диалог:

— Ты видишь

Цветы на альпийских лугах!

— Я вижу лишь выжженную землю

Маутхаузена...

И тут ты понял, что Джулио стал для тебя не просто другом и соседом по больничной койке, а прообразом сотен и сотен заключенных, предпочитавших смерть мучениям. И ты сказал ему то единственное, что мог сказать в страшный миг:

Джулио!

Обопрись на меня,

Я еще в силах стоять.

Мы еще выйдем на свет!

Но Джулио уже не верил. И безнадежно спросил:

— Сегодня!

— Нет!

— Может, завтра!

— Нет.

— Когда!

Что ты мог ответить на это усталое «когда»!

Ночью Джулио бросился на колючку, на ток высокого напряжения.

«Прости меня, Джулио, — написал ты первый вариант концовки этого стиха, — что я не нашел тогда слов».

Но ведь эта мысль, сказал ты себе, низводит трагедию гибели человека до обыденности, до

простой констатации факта. Она была бы закономерна, если бы я писал стихотворение в сорок четвертом году, еще не успев передумать то, что передумал за эти годы. Сейчас я обязан спросить: кто виноват в самоубийстве Джулио? Только фашисты! Только он сам? Нет и нет!.. Я, я виноват, что не уберег его! Мог, но не уберег в миг его слабости. И не он — мертвый — должен простить меня! А кто! Живые! Они — те, что завтра утром пойдут на завод, в порт, в школу, — они должны судить меня за ту давнюю смерть!

И ты написал беспощадную по силе концовку:

Судите меня, товарищи!
Я Джулио не удержал!

В двух этих строчках-криках ты, Эйжен, не просто очень точно выразил мысль об ответственности одного человека перед всем человечеством, но пошел на поэтическое обобщение, ставшее ключевым для всей книги. Этим ключом ты открыл для читателя Человека, прошедшего в «кацетах» путь от яростного бессилия к сознательному Сопротивлению.

И вот, как это нередко бывает в творческом процессе, недостающее звено, на поиски которого ушло столько времени и сил, вдруг отыскалось как бы само собой. Стихотворение «Миг слабости» — короткое, в неполных сорок строк — внезапно оказалось средоточием, центром всего ранее написанного. Ты увидел, как оно заполнило существовавшие до этого пробелы в отдельных стихах и в будущей книге в целом.

Как это случилось!

Наверное, сам Райнис не смог бы ответить на этот вопрос.

Твоя книга стала событием в латышской поэзии, событием во всей нашей многонациональной поэзии. Книгу читали и продолжают читать тысячи и тысячи людей. Кто сказал, Эйжен, что новые поколения людей не волнует то, что пережил узник фашизма! Кто сказал, что история — удел историков! Я знаю: после выхода твоей книги

раздавались брющащие голоса сноров, считающих модернистские стихи иных эпитонов вершиной поэтического творчества. Такие стихи писались во все времена на языках всех народов. Они и забываются быстро теми же временами и теми же народами. Поэтому — пусть себе брющат, Эйжен. А люди будут читать твою книгу и будут находить в ней мысли и чувства, созвучные их собственным. И будут писать тебе благодарные письма.

Ты уже получил и получаешь их множество. Я взял наугад несколько.

Из Лапмежциемса.

«Рыбаки колхоза «Селга» гордятся Вами. Спасибо, большое спасибо за книгу».

Из Вентспилса.

«...Наша школа чтит память людей, погибших за свободу человечества. Мы думаем о них, помним их имена. Приезжайте к нам, расскажите ребятам, как латышский народ боролся с «черными рыцарями».

По поручению коллектива средней школы им. Я. Фабрициуса —
Т. Калныня».

Из Екабпилса.

... Приезжайте к нам, расскажите о своей жизни, о том, как писали «Сажайте розы в проклятую землю», как люди разных народов вместе сражались с фашистами.

А. Бука
Екабпилсская средняя школа».

Из Баку.

«Я — бывший узник нацистских концлагерей. Мой номер 133043. В Маутхаузене был свидетелем смерти Д. М. Карбышева. Спасибо за хорошие стихи!»

Бывший член подпольной организации
Сопротивления Маутхаузена
Сергей Мамедов».

Из Биробиджана.

«... Стихи Ваши мы слушали с болью в сердце, с ненавистью к фашизму, породившему лагеря смерти. Мы восхищены людьми, которые даже в застенках Маутхаузена боролись и вели подпольную работу. Девиз нашего отряда: «Никто не забыт и ничто не забыто!»

Пионеры 7 «а» класса школы № 2
Отряд им.

Д. М. Карбышева».

Из Каменец-Подольска.

«Пишу Вам и руки дрожат, и не знаю, как Вас называть и что писать. Я один из тех, кто остался жив в концлагере Эбензее. Мой номер, который мне накололи на руке в Освенциме, 162016... Прочитал Ваши стихи, взволнован до глубины души.

Д. Парфенюк».

Из Днепропетровска.

«... Стихотворение, которое открывает Вашу книгу, изумительно. В нем — жизнь борющегося, выстрадавшего муки человечества. Желаю Вам всего самого наилучшего, что есть в мире, — здоровья, дальнейших успехов в Вашем необходимом людям творчестве.

Обыкновенная женщина, выстрадавшая
немало.

Т. В. Покровская».

Из Дорогобыча.

«На днях я получила прекрасный подарок из г. Валки — Вашу книгу. Я бывшая узница Освенцима, Равенсбрюкена и других лагерей. Потеряла всю семью... Ваша книга произвела на меня очень большое впечатление.

Мой номер на руке: А-26255.
Регина Гершдорфер».

Из Ленинграда.

«... Об этих стихах должны знать все люди.

Виктория Куц,
учительница».

Из Псковской области, Новосельского района, деревни Юрово.

«Очень рад, что через 25 лет мы узнаём друг друга. Оказывается, что и Вы хорошо знали Старостина-Маневича, который многим из нас — узников — спас жизнь... Спасибо за хорошие стихи!

Иван Большаков».

Такие это письма, Эйжен. Очень разные и очень схожие...

А сколько было прямых встреч с читателями! На многих из них мне довелось присутствовать. И я непременно открывал тебя заново — в твоих ярких публицистических рассказах, никогда не повторяющихся и всегда пробуждающих мысль и чувство. Ты, учитель-историк, стал поэтом-историком. Знаешь, Борис Пастернак в своей «Высокой болезни» цитирует Гегеля, который «однажды... ненароком и, вероятно, наугад назвал историка пророком, предсказывающим назад». Мы хорошо знаем, что для того чтобы глядеть в прошлое, нужен не меньший талант, чем для видения будущего. Тебе это удастся, Эйжен. Удастся потому, что из прошлого, из истории ты берешь то, что сегодня, сейчас необходимо всем и это необходимое вкладываешь в свою поэзию.

Ты часто бываешь в Саласпилсе. Всякий раз, когда я вижу тебя у ног железобетонных фигур Мемориала, невольно думаю о том, что жизнь наделила тебя неиссякаемыми силами, позволившими тебе не только в стихах, но и в яви возвращать прошлое. Вне сомнения: это возвращение дается нелегко. И все-таки ты делаешь этот шаг! Делаешь потому, что он нужен и тебе самому и всем нам.

Неподалеку от Саласпилса, на строительстве Рижской ГЭС, бригадиром работает Василий Кумачев. Однажды на встрече с ребятами Огрской средней школы, я наблюдал, как Василий — твой

брат по крови — слушал твои стихи. Уже немолодой, с серебром на висках, он воспринимал их с тончайшей непосредственностью остро чувствующего чужую боль человека. Да, эта боль осталась в нем и поныне! Поныне отдаются в нем удары по спине, которые он нередко принимал в лагерях вместо измученных товарищей. Я видел, как под «ударами» твоих стихов дрожали мускулы его лица, а ладони — большие и натруженные ладони рабочего — ни на секунду не оставались в покое...

Василию Кумачеву очень нужны твои стихи, Эйжен!

Людям очень нужны твои стихи, Эйжен!

* * *

Жизнь продолжается! Как сказать об этом! Как сказать, что ты написал новый сборник, что ты продолжаешь писать новые и новые стихи! Как сказать о том, что мы с тобой ходим по одним улицам, улыбаемся одному солнцу, читаем одни газеты, встречаем общих знакомых и общих незнакомых людей... Нет, все это — тема другой книги.

А я — в который раз! — беру твой сборник «Сажайте розы в проклятую землю». Ты подсказал мне первые слова моей баллады. Кончаю ее твоими, Эйжен, стихами:

Следов не хранит гранит.
Выжженная земля следов не хранит.

Но если ноги кровоточат,
Если сердце кровоточит,
И в трех шагах —
Небытие,
Тогда и в камни,
Как ни тверды,
Навеки врезаются
Песен неспетых,

Скульптур неизваянных
И несвершенных открытий
Огненные следы.
Пламенем их
Земля сожжена,
И, про́клятая, стонет она:

— Люди!
Зажгите факел
Над всем, что свято!
Сажайте розы
В меня,
Прóклятую!

Рига, 1971—1972 гг.

Курпнек Гунар Иванович

ДВЕ ЖИЗНИ

Редактор Г. Горский. Худ. редактор А. Крес-
линьш. Техн. редактор Д. Пастаре. Корректор
Л. Кац.

Сдано в набор 11 мая 1972 г. Подписано к
печати 12 октября 1972 г. Бумага глубокой
печати 120 г, формат 70×90/24. 9,3 физ.
печ. л.; 10,93 усл. печ. л.; 9,63 уч. изд. л.
Тираж 5000 экз. ЯТ 19399. Цена 85 коп. Изда-
тельство «Лиезма», г. Рига, бульвар Па-
домью, 24. Изд. зак. № 25191/Мр 173. Отпеча-
тано в Рижской Образцовой типографии Госу-
дарственного комитета Совета Министров
Латвийской ССР по делам издательств, поли-
графии и книжной торговли, Рига, Виенибас
гатве, 11. Заказ № 1016.

85 kap.

Г. КУРПНЕК



ДВЕ ЖИЗНИ